

18+

AN BELAS

ВИНОВИЙ ЗИНИК

нет
причины
для
тревоги

Зиновий Зиник

Нет причины для тревоги

«НЛО»

2022

УДК 821.161.1.09
ББК 83.3(2Рос=Рус)6

Зиник З. Е.

Нет причины для тревоги / З. Е. Зиник — «НЛО», 2022

ISBN 978-5-4448-2054-4

Куда бежать, когда границы государств превращаются в тюремные стены? Где выход, если ты обрел политическую свободу, но оказался узником бытовых обстоятельств или собственного сознания? Книга Зиновия Зиника с удивительным для нашего времени названием составлена из рассказов, написанных в разные годы, но посвящены они, по сути, одной сквозной теме: как пережить личную катастрофу, неудачи и поражение, но сохранить при этом свою свободу и ясность ума. Герои Зиника с решимостью преодолевают мировые границы, но не всегда справляются с абсурдом, которым переполнена и позднесоветская жизнь, и повседневность глобального мира, увиденных автором с беспощадной и точной иронией. Зиновий Зиник – прозаик и эссеист. Эмигрировал из Советского Союза в 1975 году. С 1976 года живет в Великобритании. Автор двух десятков книг на русском и английском языках, в том числе сборников «Эмиграция как литературный прием» (2011) и «Третий Иерусалим» (2013), вышедших в НЛО.

УДК 821.161.1.09

ББК 83.3(2Рос=Рус)6

ISBN 978-5-4448-2054-4

© Зиник З. Е., 2022

© НЛО, 2022

Содержание

По обе стороны стены	6
От автора	6
Точка зрения	12
1	12
2	18
3	23
4	29
5	36
Меа culpa	44
Белый негр и черная кола	53
Беженец	60
Осторожно: двери закрываются	65
Конец ознакомительного фрагмента.	68

Зиновий Зиник

Нет причины для тревоги

© Zinovy Zinik, 2022

© Н. Агапова, дизайн обложки, 2022

© ООО «Новое литературное обозрение», 2022

По обе стороны стены

От автора

Герои этих историй добровольно или по воле обстоятельств выпали из привычного быта, рутина их жизни нарушена. Политические беженцы и репатрианты, вынужденные мигранты и добровольные изгнанники, незадачливые путешественники и брошенные любовники, они решили изменить свое будущее, сменив географию, но забыли при этом изменить свое мировоззрение, свои взгляды на политику, секс, религию и цвет кожи. Подобный шаг приводит к неизбежным комическим недоразумениям. Неудивительно, что в большинстве случаев эти герои – не исключая самого рассказчика – наталкиваются в новом мире на стену непонимания, не без урона для самих себя и для окружающих, порой с трагическими последствиями.

«Стена непонимания» – это, конечно же, метафора, троп. Стены в этих историях претерпевают разные метаморфозы, но остаются при этом стенами. У стен бывают человеческие уши, тюрьмой может ощущаться и наше собственное тело – люди занимаются самувечем, чтобы освободиться от собственной телесности. Мы инстинктивно разрушаем стены, чтобы построить новые, другие – иного смысла, в другом измерении. Идеи и эмоции перечеркивают прежний опыт, отделяют твое прошлое стеной, разлучают людей, устанавливают границы новой жизни. Трудно и самому преодолеть преграды, разделяющие разные части твоей биографии. Некоторые из этих историй случились чуть ли не вчера. Но часть рассказов (просьба обращать внимание на даты на последних страницах) звучат как мемуары из другой, ушедшей эпохи, когда мир был поделен железным занавесом и советские границы были на замке.

Сверху, из поднебесья, из иллюминатора самолета или вертолета, государственная граница – даже если ее рассматривать в бинокль – это не более чем извилистая линия на карте внизу. Я ощутил реальность советской границы – железного занавеса, стены, непроницаемой перегородки, за которую тебя не пускают, – лишь оказавшись вне ее, без права возвращения, автоматически лишенный советского гражданства, когда уехал из России в январе 1975 года. Стена существует сама по себе, но ее реальность для тебя зависит от твоей позиции, от того, с какой стороны ты на стену смотришь.

Когда я жил в советской Москве, эта граница была отодвинута куда-то к горизонту. Да, я знал, что рубежи Советской родины существуют, охраняются пограничниками. Однако все, что находилось за пределами Советской страны, не было материальным – существовало лишь в нашем воображении, в фантазиях, вычитано из доступных книг, подсмотрено из редких кинолент. И поэтому советский мир был беспредельным, безграничным: ты смотришь на звездное небо и не спрашиваешь, где пределы этого космоса. Советская государственная граница была, таким образом, некой абстрактной концепцией. Вселенской тюремной концепцией той эпохи.

Есть в этих рассказах и персонажи, замурованные в тюрьме времени. Мы охраняем в памяти свои тюремные стены своего прошлого и держим свою домашнюю оборону, секреты личной жизни. Однажды выстроенная – как некий запрет или как кирпичный забор – стена будет существовать в нашем сознании и в нашей памяти, сколько ее ни разрушай. Есть люди, неспособные отвлечься от собственного прошлого; они переживают его с такой интенсивностью, что воспроизводят тюремно-лагерный амбьянс у себя в новом доме, окруженном забором с колючей проволокой. Такую тюремную зону из собственного прошлого создают вокруг

себя вовсе не обязательно бывшие заключенные. Иногда сознание человека настолько жестко заключено в тюрьму застывшего в памяти прошлого, что он путает ставших взрослыми детей с их родителями, его бывшими близкими друзьями.

Как только речь заходит о стенах или границах, я тут же вижу себя в детстве, стоящим перед дверью ванной, где заперлась моя мама. Я реву смертным воем, я стучу в дверь кулаком и требую, чтобы дверь открыли, потому что не верю, что маму снова увижу. Она умерла в больнице за железным занавесом, и на ее похороны меня, лишённого советского гражданства, в Москву не пустили. Ее голос до сих пор звучит в телефоне у меня в памяти.

В Иерусалиме мне показывали дом-музей, где останавливался отец сионизма Теодор Герцль. Все стены внутри дома оштукатурены, кроме одной. В этой части стены обнажена кирпичная кладка. Такое ощущение, что стена недостроена. Мне объясняли, что в традициях определенных религиозных общин оставлять одну из стен в таком незаконченном виде как напоминание о разрушении Храма.

Стена Плача – это не стена, не препятствие, разделяющее два пространства – внутри и вовне когда-то разрушенной святыни. Это – нечто вроде облицовки холма, искусственно возведенного для строительства Второго Храма. То есть за этой стеной ничего нет, кроме слоев земли – освященной храмовой территории. В эту стену, в щели между камнями, как будто в огородные грядки, втыкают молитвенные записки со своими надеждами и чаяниями религиозные евреи. То есть на этой стене произрастают мечты, расцветает мольба о счастье, пускают свои корни личные клятвы, размножаются фантазии.

Мы рисуем загадочный мир за стеной в своем воображении. Стены существуют и как экран – проекция нашего сознания. Я провел детство в двенадцатиметровой комнате коммунальной квартиры, где жизнь шла благодаря перегородкам и ширмам. Когда за такой ширмой, где стояла постель родителей, зажигалась вечерами настольная лампа, ширма превращалась для меня в театр теней. Это было мое первое знакомство с концепцией «Пещеры» Платона. За спиной у тех, кто разглядывает тени на стене, – выход из пещеры, откуда льется свет. Но люди остаются в пещере, загнипнотизированные хороводом теней.

Практически у каждого приличного лондонского дома есть лужайка с кустами на заднем дворе и лужайка с кустами перед домом. Эти садики и палисадники отделены от соседских заборами. Забором, собственно, эти перегородки между участками назвать трудно. Забор загораживает. Стена же между соседским садом – кирпичной кладки – обычно не доходит до пояса, размечая границу. Об эту кирпичную перегородку опираются, как о стойку бара, беседуя о всякой ерунде с соседом. Подобную идеальную картинку видишь чаще, чем вы думаете, и не только в старой доброй Англии. Как нам объяснил американский поэт Роберт Фрост, 'Good fences make good neighbors.' У Фроста, впрочем, эта фраза иронична: само существование забора говорит о том, что дело может обернуться совершенно по-иному, и эта, казалось бы, чисто символическая перегородка свидетельствует о наличии скрытых враждебных интенций у соседа. Эти тенденции не проявляются благодаря забору. Забор, устраняя эти тенденции, напоминает нам, что они есть.

Недаром стена или забор, оставленные без присмотра, тут же покрываются граффити. От наскальных рисунков первобытного человека и матерщины городской шантрапы до карикатур Banksy, стена – это площадка для общественных деклараций и публичных комментариев. Этим занимаются гигантские корпорации с их рекламными щитами. Стену расписывают лозунгами

и заборными надписями. Эти надписи пытаются стереть дворники, но они возникают снова и снова. Природа человека не терпит пустоты, и рука тянется к распылителю с краской: начертать что-нибудь и засвидетельствовать свое эпохальное присутствие. Ну хотя бы приостановиться, как собачка, и расписаться собственной струей. В свое время Берлинская стена была знаменита своими граффити – лозунгами и картинками, чуть ли не фресками. С концом холодной войны муниципалитет Берлина решил в конце концов стереть их, очиститься от прошлого, так сказать. Началась волна протестов: стена уже немыслима без привычных граффити, и самые знаменитые заборные сюжеты на стене были воспроизведены заново их авторами по просьбе властей.

Есть такая театральная миниатюра шестидесятых годов польского драматурга-абсурдиста Славомира Мрожека. На сцене занавес. Перед занавесом толпятся несколько человек. Они заинтригованы загадочным феноменом: время от времени части занавеса вспучиваются, возникают бугры, впадины, странные по форме конфигурации ползут по нему кругами и сверху вниз, слева направо и обратно, потом эти неровности исчезают, чтобы возникнуть в другой части занавеса, «переманивая» толпу любопытствующих за собой. За занавесом явно происходит нечто загадочное, люди осторожно дотрагиваются до полотняной перегородки, тыкают в нее пальцами, пытаются нащупать тут и там нечто невидимое, что скрывается за занавесом. В конце концов толпа не выдерживает и срывает занавес. И оказывается лицом к лицу с аналогичной толпой – те пытались разгадать ту же мистерию, тыкая в нее пальцами, ощупывая руками, но с другой стороны.

Так можно было бы интерпретировать фиктивность и фальшь разделения мира железным занавесом в эпоху холодной войны: когда занавес рухнул, мы убедились, что за перегородкой – не монстр, что все мы, мол, люди. Однако само наличие этого разделяющего полотна говорило, как в стихотворении Роберта Фроста, об интенциях людей по разные стороны этого занавеса.

Ведь стена – это еще и своего рода зеркало, где мы сами отражаемся в прямом или переносном смысле. Я несколько лет проводил лето в загородном доме, где застекленная входная дверь была как вертикальное окно. В солнечный день в стекле отражалось голубое небо с облаками и, если ты заглядывал снаружи вовнутрь, между отраженными облаками можно различить мебель и силуэты обитателей внутри дома. На все это накладывалось твое собственное отражение, как будто ты вместе с другими смотрел на себя изнутри. Так я воспринимаю собственное прошлое взглядом из другой жизни, после десятилетий общения на другом языке в другой стране. Те же двоящиеся образы и отражения возникают в уме у каждого, кто способен взглянуть на прошедшую жизнь со стороны. Мы осознаем, что отрывочность и непредсказуемость образов этого прошлого зависят от нашего взгляда. Только птица может спутать отражение голубого неба в окне с настоящими небесами и, влетая с собственной тенью в это иллюзорное небо, разбивается насмерть о твердое стекло.

Самые опасные для меня – стеклянные стены, ничего не отражающие. Прозрачные стены, практически невидимые, как стеклянные двери супермаркетов. Однажды я врезался в такое стекло. Оно было настолько прозрачным, что я четко видел внутренность помещения и посчитал, что дверей нет. И шагнул прямо в стеклянную перегородку. Я разбил очки и, может быть, повредил себе зрение. Прозрачные стены в отношениях – самые предательские. Тебе кажется, что ты различаешь и понимаешь каждый нюанс в общении с близким приятелем, пока неожиданно не натыкаешься на мощное – невидимое – препятствие.

Симона Вейль, религиозный философ, французский эмигрант в Англии во время Второй мировой войны, говорила о земном материальном мире, созданном Богом, как о стене, благодаря которой человек – как слепой с палочкой – отыскивает свой путь.

Для меня сюжет в рассказе – это и есть те самые стены, что ведут слепого персонажа к выходу из сложившейся тупиковой ситуации, из тюрьмы внешних обстоятельств. Меня привлекает сюжетность в прозе, потому что наличие сюжетной логики говорит читателю: вы читаете не документальную исповедь, которая может быть враньем и фальшью; тут вам врут демонстративно, сюжетно врут, как в сказках, рассказывая о возможных метаморфозах идей и человеческих характеров. Это еще один пример преодоления перегородок, пересечения границ – границ реальности, где пограничный контроль – это мера вымысла.

В юности я бросил заниматься живописью и увлекся геометрической топологией. Меня поразила парадоксальная идея односторонней поверхности – в виде ленты Мёбиуса. Математик Мёбиус взял длинную полоску бумаги и склеил ее концы в кольцо, но не обычным образом, а перекрутив один конец на сто восемьдесят градусов, как если бы вы неправильно застегнули брючный ремень, перекрутив пряжку. Если двигаться по кольцу нормально закрученной цилиндрической поверхности, вы никогда не попадете на ее внутреннюю сторону, не перелезая через край. Начав такое же путешествие по ленте Мёбиуса, вы вернетесь в ту же точку, но – ко всеобщему удивлению – побываете на обеих сторонах ленты, ни разу не пересекая ее края. Лента Мёбиуса – односторонняя.

Есть люди, чье кругосветное путешествие по жизни обходится без пересечения границ. Меняются страны и народы, среди которых они временно оказались, но чувствуют они себя в любой точке своего путешествия так, как будто они никогда не выходили из своего дома. И они возвращаются домой, в изначальную точку, как по ленте Мёбиуса, не замечая пограничного контроля, не оставив ни единой царапины от колючей проволоки – ни на коже, ни в душе.

Сочинение истории – это путешествие другого рода: с нарушением разного рода табу и границ интимности, приватности; это травматическое вторжение в чужую жизнь и безуспешные попытки саморазоблачения. Я приписываю другим персонажам свой собственный опыт, краду чужой опыт для своих героев, среди которых может оказаться и фиктивное «я» рассказчика. Драматические коллизии или инциденты в моих историях могут быть вымышленными, а могут быть заняты в долг у реальных людей или из моей собственной жизни. В ходе подобной экспроприации мне как сочинителю нравится, когда в вымышленном сюжете проглядывается документальная подкладка, когда документ и вымысел меняются местами ради преодоления невидимой преграды. Я рассказываю увлекательную историю о том, как все, что вы могли слышать в реальности, обернулось совершенно совершенно непредсказуемым образом – по другую сторону стены.

Но какие бы реальные лица и ситуации ни маячили тенями и отражениями у меня в повествовании, у этих рассказов один-единственный герой. Это – сам автор, рассказчик. В большинстве рассказов этого сборника повествование ведется от первого лица. Лица эти кардинально разные. В каждом герое есть, конечно же, нечто от автора. Но автор больше всех своих героев, вместе взятых. И автор – не шизофреник: расщепленность личности не означает расщепленность сознания. Да и у самого автора в британском паспорте двойная фамилия: Зиновий Глузберг-Зиник. В нас гармонично сочетаются родственники разных кровей и происхождения, разные языки (в моем случае – русский, английский и иврит) и опыт пребывания в разных странах, с разным прошлым.

Остались ли у нас личные секреты? Или же все, что высказано интимно, становится в наш век новой искренности достоянием общности? В нашу эпоху повальной исповедальности в соцсетях критерии интимности извращены. Все публикуют свои личные дневники, в которых не осталось ничего личного: еще Пушкин отметил, как трудно быть искренним и откровенным, говоря о себе. Сочинители этих откровений не понимают, что мыслят по большей части шаблонами и клише исповедальной прозы и дневникового жанра – они лишь подражают тону интимности. Открыв себя, казалось бы всего целиком, внешнему миру, мы оказались в бессловесном тюремном одиночестве – в добровольном заключении, самоизоляции, домашнем карантине.

Очень трудно отыскать дверь в стене, подобрать тайный ключ и оказаться в Раю, где никто ни перед кем ничего не скрывает. Но как долго ты в этом Раю готов пребывать? Прекрасный ландшафт, поют птички, но хочется обратно. Как вернуться обратно на Землю? Видимо, поэтому Адам так охотно откусил яблоко, предложенное Евой.

Когда мы меняем свою жизнь – или, точнее, когда жизнь меняет нас, – мы осознанно или нет преодолеваем некое препятствие. Меняем место жительства, переживаем разрыв отношений, переходим на другой язык. Но есть момент между до и после – это остановка, момент, когда остаешься наедине с самим собой, без потерянного прошлого и без будущего, которое еще не началось. Это момент изоляции – самоизоляции или тюремного заключения, – когда человек пересматривает собственную ситуацию.

Я думаю о тех, кто оказался запертым изнутри. Дверь за спиной случайно захлопнулась на замок, ключ потерян. Заело замок, застряла щеколда, заело дверь, застопорились шестеренки механизма, и лифт застрял между этажами. Я думаю о тех, кто застрял между этажами. Кто застрял в «узком промежутке», цитируя по памяти Есенина. С этого признания собственной несостоятельности и следует начинать повествование: настоящая проза возникает как осознанная необходимость – когда деваться некуда. И надо менять образ жизни. Или образ мышления?

Согласно каббалистической концепции *zimzum* (то есть сокращение, сжатие) в иудаизме, Бог создал этот мир, ограничив себя, себя сжимая и вытесняя, высвобождая пространство для земной жизни. Чтобы толково рассказать довольно путаную историю, надо себя ограничивать. Чтобы человек пришел в себя от психологического шока, его помещают в отдельную палату. Иногда такой палатой может стать тюремная камера. Тюрма помогает общению с самим собой. И восстанавливает желание общаться с другими. Симона Вейль видела в стенах – как в любом материальном препятствии – средство общения: заключенные в тюрьме перестукиваются, для них стена – это своего рода телеграф.

В семидесятых годах на меня в Москве было заведено уголовное дело. В одной из историй этого сборника речь идет об уклонении от воинской повинности тех лет. Сюжетные ходы и герои этой истории – выдуманные, но саму ситуацию пережил я сам, когда тех, кто стремился покинуть Советский Союз, стали призывать в армию: пребывание в воинской части можно было приравнять к получению доступа к секретам обороны страны, и обладателя подобного государственного секрета можно было легально лишить пожизненно права на выезд за границу. Я скрывался от призыва в армию на протяжении месяца на квартире подруги. Это была блаженная изоляция – один из самых счастливых эпизодов моей жизни. За окном была дымная мгла, и я не был уверен, когда снова смогу появиться у себя дома. Но меня постоянно

навещали близкие друзья. Мы много пили, много говорили и танцевали. В моем мрачноватом отчете об этом эпизоде жизни фигурируют мотивы вины и соучастия в связи с актом отъезда, разлуки и эмиграции. И тем не менее сама театральность этой ситуации создавала атмосферу оптимизма и праздника – праздника дружбы и большого разговора.

Восприятию тюремной изоляции как переоткрытию необычных путей общения я научился не только у Доррита-старшего в долговой тюрьме Маршелси из романа Диккенса «Крошка Доррит». Скорее на меня повлияли рассказы моих менторов, учителей жизни – Александра Асаркана и Павла Улитина – об их пребывании в Ленинградской тюремной психбольнице, где трудотерапия проходила в переплетной мастерской под аккомпанемент увлекательных разговоров и изучение иностранных языков. Там же Асаркан умудрился поставить любительский спектакль по «Тени» Шварца; актерами были обитатели отделения психопатологии, некоторые из них – убийцы и людоеды. Спектакль прошел на ура и был одобрен администрацией. Асаркан считал эту пару тюремных лет одним из самых счастливых эпизодов своей жизни, где он обрел своих лучших друзей.

Много лет назад в Лондоне, когда я зарабатывал на жизнь бесконечными рецензиями, мы обсуждали в гостях документальный телефильм о нынешнем состоянии британской пенитенциарной системы. Меня поразила комфортабельность камер в некоторых из тюрем. При всей скромности мебелировки и дизайна помещения, в такой камере было все, что необходимо для вполне безбедного существования. Кровать с матрасом, письменный стол с рабочим креслом, маленький телевизор в углу, книжная полка и даже небольшое окно под потолком (естественно, с решеткой), похожее на окно в мансарде. О такой комнате я мог в те годы только мечтать: сиди, лежи, думай, читай, пиши. Как же туда попасть, в такой интеллектуальный комфорт? Среди гостей оказался юрист-адвокат, и он развеял мои мечты. Он сказал, что в британских тюрьмах существует своего рода иерархия в отношении к преступникам в зависимости от психопатологии совершенного преступления. Тюремную камеру, похожую на кабинет писателя, надо заслужить: убить папу с мамой, съесть соседа живьем, изнасиловать дочку, вырвать глаза жене. Только великие преступники заслуживают подобный тюремный комфорт.

Заслуживаем ли такую комфортабельную тюремную камеру за наличие у нас в голове некоторых незаконных мыслей? В нашем сознании (а вовсе не подсознании) бродят разные чудовищные идеи, мрачные гипотезы, акты мщения, яды ревности и зависти. Мы знаем, что они существуют в нашем сознании, рядом, параллельно, по соседству, но мы держим дверь на замке и в свою действительную жизнь этих злодеев не пускаем. Однако границы между этими двумя осознанными реальностями в некоторых ситуациях стираются. Эта потеря пограничного контроля – душевное заболевание, человек становится душевно больным, у него болит душа, он сходит с ума и становится с-ума-сшедшим.

На этой неопределенности границ душевных миров и строится рассказ – на столкновении общепринятого с иррациональным, хотя и потенциально возможным. Нарушение границ между этими мирами – вторжение незаконной затабуированной мысли в уютное благоустроенное сознание – это своего рода криминальный акт. В этой криминальности – природа творчества. Хождение сквозь стены.

*Зиновий Зиник
Лондон, 2021*

Точка зрения

1

«Вот, попробуйте, креветки-когул», – и Альперт подвигает ко мне продолговатое блюдо с креветками расцветки жирафа в упаковке из нежнейшего рисового пергамента. Сам он к этому кулинарному шедевру не притрагивается. «У них должен быть острый горьковатый привкус, поскольку в соус добавлена растертая полевая ромашка – контрапунктом к рому с жженым тростниковым сахаром». Каждый заход в ресторанное заведение с Альпертом – это своего рода путешествие в неведомые земли. Когда в семидесятых годах я попал из Москвы в Лондон, он открыл для меня целую вселенную – калейдоскоп лиц, экзотических ароматов и цветов кожи, вавилон акцентов и манер. Это было кругосветное путешествие от одного ресторанного столика к другому, это была карта земного шара в виде ресторанного меню. Это был не только туристский Китай, как Чайнатаун на Джерард-стрит или Бангладеш на Брик-Лейн; я узнал изощренность кебабной Турции в Долстоне, африканские ритуалы Эретрии в забегаловках Кеннингтона и ямайские ритмы в Брикстоне. В отличие от Альперта я не гурман, но каждое блюдо сопровождалось уникальными комментариями – историями из жизни самого Альперта. В этих встречах и разговорах за ресторанным столиком мы сблизились, хотя он был лет на пятнадцать старше, из советской элитарной семьи с Арбата, а я – родом из пролетарской коммуналки хулиганской трущобной Марьиной Рощи. Но для Альперта-лондонца я был посланцем новой России, эмигрантом третьей волны, свидетелем его московского прошлого. Он выспрашивал меня детально о судьбах московских героев его эпохи, улицах и монументах, легендарных кафе, забегаловках и ресторанах его студенческой эпохи. Обо всем этом – речь шла о хрущевских пятидесятых – у меня было весьма смутное представление. Впрочем, я кое-что слышал, подхватывал на ходу у всеведущих друзей в Москве, кое-что мог присочинить и сам. Это был культурный обмен, интригующий нас обоих. Но постепенно мы оба, при всей обоюдной симпатии, друг другу поднадоели. Он продолжал свои кругосветные ресторанные экскурсии и *трипы*, я же продолжал ошиваться в частных клубах и барах Сохо (где впервые побывал благодаря Альперту).

И вот неожиданный звонок – сколько лет, сколько зим! – и снова передо мной этот ресторанный бог, гуру и гурман с грациозной импозантностью лондонского денди. Видимо, с ним произошло нечто экстраординарное. Слушая Альперта, я убеждаюсь в который раз, что человек, однажды в жизни совершивший невероятный для себя самого поступок, всю остальную жизнь пытается повторить этот судьбоносный пируэт во всех его мыслимых версиях и вариантах. И сам при этом удивляется шокирующим результатам. Вообще, Альперт всегда завораживал меня и своими эксцентричными поступками, и экстравагантными знакомствами. Завораживал эксцентризмом судьбы: не жизнь – а детективный роман, ждущий своего автора. Тут не было никаких секретов и загадок, но он никак не мог соединить все эти невероятные эпизоды своей жизни единой логикой и поэтому постоянно возвращался к ключевым судьбоносным моментам в наших с ним разговорах. За его элегантно сдержанностью всегда скрывался неутомимый пожиратель не только кулинарного изыска и экзотики всех стран и народов, но и политических слухов и новостей о социальных катаклизмах в мире. Однако на этот раз с первых же минут нашей встречи я заметил, что в этом жовиальном оптимисте стала угадываться необычная для него мрачноватость, чуть ли не раздражительность и нетерпеливость недовольного ребенка. Он периодически стряхивает невидимые крошки с рукава. Галстук слегка сдвинут на сторону. Пиджак застегнут не на ту пуговицу. Обычно он умеет дернуть за уголок крахмальную салфетку, сложенную на столе треугольником, так что она раскрывается, как крылья

птицы, и взлетает, чтобы приземлиться у него на груди. В этом жесте – смесь фокусника и мага. Но сейчас эта белая крахмальная салфетка небрежно заткнута за ворот под его увесистый подбородок без привычной элегантности. И непонятно, зачем ему салфетка: меняются блюда, но к еде он практически не притрагивается, несмотря на крайне любопытное меню.

Он, как всегда, выбрал для встречи нечто нестандартное. Я пришел чуть раньше Альперта и понял, что это место далеко не шик и ар-нуво отеля Savoy и не диккенсовский Rules, не богемный гламур Ivy или Carrice поп-звезд культуры, это даже не постмодернизм ресторана St. John, с его ностальгией по викторианской кухне из телячьих почек и рагу из фазана. Куда там. Это еще один новый ориентальный ресторан в Сохо, между Дин-стрит и Грик-стрит, но в дальнем конце, ближе к Оксфорд-стрит, то есть как бы на отшибе. Современное просторное помещение – кожаные диваны, бамбук, белые скатерти. И тем не менее сразу чувствуешь, что есть в этом ресторане нечто уникальное, что это – *the* место. Хотя бы потому, что именно это место выбрал Альперт для нашего ланча. Есть люди, чья светская роль оценивается списком тех модных ресторанов, где они бывают. Альперт, наоборот, создавал репутацию уникальности всякому месту, куда он заглядывал.

Когда внушительная фигура Альперта появляется в дверях ресторана, это заведение вырастает в наших глазах до целой вселенной, где в центре – сам Альперт. Я убедился в этом и сегодня. Из опыта общения с Альпертом я давно понял: надо уметь входить в ресторан. Я, как и многие, войдя в зал ресторана, несколько смущаюсь и теряюсь. Ощущение собственной неадекватности и неловкости, как будто ты перепутал дату и попал в дом не по адресу; или когда в панике тыкаешь и кликаешь бессмысленные линки, войдя на незнакомый сайт, и на экране выскакивают совершенно неуместные лица и реклама. Но стоит Альперту появиться при входе в любое заведение, как все официанты как будто застывают на месте. Он всегда был грациозен, несмотря на внушительную корпулентность всего облика. В его гордом подбородке, в пружинистой осанке аристократическая четкость человека, отдающего приказы. *Metre d'* тут же пересекает ресторанный зал, с незаметным поклоном приветствует его, чтобы подвести к лучшему столику в зале. Я видел это не раз. На этот раз метрдотель заметил мой приветственный взмах рукой и подвел Альперта к моему столику в нише.

«Неправильный столик». Это первое, что говорит Альперт, взглянув на меня и оконную витрину рядом. Чем ему не угодил столик, который я выбрал заранее, самостоятельно? Меня к этому столику подвел метрдотель в ожидании Альперта. Приятный столик, в глубокой нише на двоих, сбоку от огромного окна, где видна часть улицы. Можно наблюдать, что происходит на углу, где модный бар-ресторан со столиками снаружи. Вот уже минут десять, в ожидании Альперта, я слежу за загадочной сценой: один из клиентов затеял серьезный, судя по всему, скандал с официантом. Мое внимание привлекла странная внешность человека за столиком. На нем вполне обычный, хотя и несколько пожеванный, костюм темно-синего цвета – *navy blue*, но явно не по росту, огромный, он сидит на нем как хламида, и, несмотря на свисающий под седой диковатой бородой изжеванный галстук, он похож на бомжа. Вместо плаща на плечах у него нечто вроде пестрого одеяла, пончо, что ли, полосатая накидка. Но он явно не бомж. Он сидит скрестив ноги, занимая чуть ли не весь тротуар. И он курит сигару. Огромную сигару, что в наше время редкость, даже на улицах Сохо. Перед ним огромная тарелка с каким-то блюдом – издали трудно сказать. Он машет сигарой – подзывает официанта. Мне сбоку видно, как бородач поднимает тарелку и чуть ли не сует ее официанту под нос. Я не вижу лица официанта. Тот пожимает плечами и удаляется вместе с блюдом. Бородач продолжает курить сигару.

Казалось бы, идеальное место в ресторане для наблюдения за жизнью вокруг. Выяснилось, что нет. «Неправильный столик. Мы сядем не здесь, а там». И пригласительный жест к столику в другом углу ресторана. Здесь и там, вот именно. Там и тут. Как только ты оказался *здесь*, тут же возникает *там* – где тебя нет. Я вижу (и слышу) этих людей: а вон там у них, а вот у нас здесь, вот у вас там, а у нас здесь, но мы тут, а вы где? Те, кто считает, что они –

центр вселенной, они всегда *здесь*, для них весь мир – это здесь, и им наплевать, что происходит *там*. Но есть беспокойные умы – те, кто все время думает: а что же там, пока мы здесь? Пожалуй, и я и Альперт – люди второго типа. Нам обоим не сиделось в Советском Союзе. Разница в том, что он покинул родину в конце пятидесятых, в эпоху оттепели, нарушив советские законы как предатель-невозвращенец; я же прождал еще два десятилетия, чтобы сказать свое *vale* вполне легально, когда выпускали на постоянное место жительства из Советского Союза под видом воссоединения с родственниками за границей. Но обман присутствовал и тут, поскольку приглашение было устроено друзьями: родственники эти были фиктивные. То есть он был героем-криминалом, я же законопослушным предателем своей родины. Оба мы, впрочем, были автоматически лишены советского гражданства за свои действия. Оба были неспособны оставаться на месте: *там* было для нас всегда важнее, чем *здесь*. И поэтому, когда Альперт говорит, что надо сидеть не здесь, а там, я, привыкший к перемене мест, поднимаюсь и послушно следую за ним, к столику рядом с входной дверью.

Я послушно усаживаюсь за этот столик в проходе и на сквозняке. И все-таки решаюсь спросить моего ресторанный гуру: почему здесь, а не там, в нише рядом с окном? Альперт всматривается в меня своим рассеянным взглядом прозрачных голубых глаз. Я замечаю, что он вообще рассеян. Ресторанный ритуал, однако, соблюдается с привычной строгостью. Он говорит, что мы пришли в ресторан не для того, чтобы рассматривать прохожих за окном. Мы не пришли разглядывать публику. Это официанты должны следить за нами – за выражением наших лиц, за движением рук, глаз. «Мы с детства привыкли, что за нами следят – родители или органы. Но важно знать, кто за тобой следит. За столиком ресторана все мы немножко артисты. Актеру на сцене нужен взгляд зрителя, иначе он чувствует себя некомфортно. Наш главный зритель – официант», – говорит мне Виктор Альперт. Следует ли подлить нам вина? Сменить блюдо? Пора ли приносить десерт? И разные мелочи. Убрать крошки и угадать следы недовольства на лице. Официанту было бы невозможно наблюдать за всеми этими нюансами, если бы мы остались за столиком, за которым я оказался изначально. Мы были бы практически невидимы из-за неправильного освещения. Мы бы сидели лицом к залу, но спиной к свету из окна – это затемняет наши черты. Официант не смог бы угадать выражение наших лиц. За новым столиком (выбор Альперта) мы под полным наблюдением всего обслуживающего персонала. И это крайне важно. Кроме того, его не устраивало, что столик, который я выбрал, находился в нише, в закутке, отделенный от остальной части ресторана боковой стеной и кадкой с пальмой, как отдельный кабинет. После инцидента в Америке у него развился страх закрытых помещений. Клаустрофобия. В результате он больше не посещает свои любимые забегаловки, маленькие рестораны-комнатушки, с одной кухонной плитой, прилавком бара и парой столиков, обычно без скатертей: именно в таких непрезентабельных заведениях, как мы знаем, и можно сделать истинные кулинарные открытия. Объясняя мне все это в подробностях, Альперт начинает говорить в убыстренном темпе, он явно нервничает. Я замечаю, что даже внешне Альперт довольно сильно сдал. В его обычной изящной полноте и импозантности появились признаки нервного истощения – круги под глазами, некоторая худоба щек. Перемены произошли, как я начинаю понимать, после путешествия по Америке. Задолго до нашей встречи, в разговоре по телефону после его возвращения в Лондон, он мне дал понять, что в Америке произошел некий неприятный инцидент. «Этот инцидент все кардинально изменил», – произнес он по телефону загадочную фразу. Но я не спешу с расспросами. Не решаюсь спрашивать напрямую. Я наслаждаюсь экзотическими блюдами нового ресторана в его компании.

Сам я тем временем могу наблюдать все, что происходит на другой стороне улицы, гораздо лучше, чем за предыдущим столиком, потому что сижу теперь уже не сбоку, а практически напротив ресторанный витрины. Я вижу картинку в полном масштабе – жестикуляцию и даже отчасти выражения лица официанта, поскольку изменился угол зрения. Там происходит загадочная пантомима. Официант подходит к столику клиента с блюдцем, на блюдце явно счет.

Его клиент-бородач (борода практически закрывала все его лицо – от подбородка до ушей) подцепляет счет с блюдца и рассматривает его, как будто на просвет. Потом сминает его в маленький комочек и швыряет его в лицо официанту. Официант подцепляет комочек с тротуара, кладет его обратно на блюдце, резко разворачивается и исчезает внутри заведения. Человек за столиком снова закуривает сигару, берет в руки меню и листает его, как порнографический журнал.

Тем временем, под аперитив с крепчайшей китайской водкой маотай и перуанским лаймом, Виктор Альперт пытается убедить меня в том, что ощущение безопасности – это когда ты знаешь, что за тобой наблюдают. Либеральные круги у нас постоянно обличают и разоблачают авторитарные, тоталитарные тенденции нашего правительства: мол, куда ни глянь – везде камеры наружного слежения, видеокamеры, все друг друга айфонят. Глаз Старшего Брата и так далее. Но в действительности это не более чем забота друг о друге, как в английской деревне: шагу не ступишь – уже всем известно. И людям это нравится, это создает ощущение, что ты не брошен на произвол стихий (и судьбы), за тобой присматривают, не дают оступиться. Мы с вами – и он глянул на меня исподлобья, конфиденциально, как на сообщника, – мы выросли под наблюдением и наших родителей, и гэбистов. За нами постоянно наблюдали – мама, папа, бабушка, дедушка. Дворник. Миллиционер. Тетки на скамейке. Надень шарф, застегнись! Ты опаздываешь в школу. Не ходи в мороз без шапки. К экзамену подготовился? Не ешь бутерброд во дворе. Надень свитер, сегодня будет снег. Держи вилку в левой, нож в правой. Поцелуй тетю Дору, спасибо за шоколадку. Зачем ты читаешь эту грязную литературу? Перестань общаться с этим кругом! Каждый шаг был под контролем. На тебя смотрели. За тобой следили. За твоим благополучием наблюдали. Поэтому, когда мы не чувствуем, что за нами наблюдают, мы испытываем нечто вроде беспокойства, как бы это сказать: ощущение потерянной родины. И тут я, пожалуй, соглашусь с Альпертом. Конечно, тебя могли арестовать; конечно, это была страна тюремного режима – для всех, кто хотел изменить свою жизнь, свой образ жизни или отношения с начальством. Но в обмен за эту подчиненность внешним обстоятельствам у тебя было ощущение стабильности, толщиной в тюремную стену, предсказуемости, гарантированного будущего. Если ты не предпринимал опасных шагов публично, твоя жизнь была расписана с начала до конца. Мы знаем, что бывшие британские военнопленные в Китае, переселенные на время в специальные бараки после освобождения из плена, отказывались уезжать обратно в Англию еще лет десять, потому что в этих бараках все их минимальные нужды были обеспечены, там не было страха перед будущим. Убожество, но гарантированное. Оставалось быть счастливым. Расстреливались и гибли по тюрьмам и лагерям сотни тысяч невинных людей, но наши родители справляли дни рождения, танцевали под Новый год, водили детей на елку в Колонный зал, на «Щелкунчика» в Большой, справляли первомайские праздники, ходили весело на субботники, все по расписанию, все под наблюдением.

Неожиданно Альперт прерывает свой монолог, как обычно приправленный парадоксальными афоризмами. В паузе слышно звяканье вилок и ножей о тарелки за соседними столиками. Альперт как будто задумался о судьбах вселенной. Впрочем, у человека бывает задумчивая физиономия как раз тогда, когда он ни о чем не думает. Он не решает философских задач. Но он вслушивается. Он вслушивается в собственные органы чувств – вкуса и запаха и еще чего-то неведомого, недоступного мне, плебею ресторанной культуры. Он подкладывает мне на тарелку шедевр кулинарного гибрида – *фьюжен* – Тайваня, Венесуэлы и Италии – закрученные, как детективные истории прошлого века, пахучие жгуты. Он едва надкусывает дольку этого спрута загадочного происхождения, маринованного, как было сказано в меню, в соусе из сычуаньского таормина и сиракузской крапивы. Он снова стряхивает невидимые крошки с рукавов пиджака и возвращается к нашему разговору.

За нами наблюдает уже пара официантов, а за официантами наблюдает *metre d'* – метродотель. Как, интересно, мы выглядим в его глазах? Понимает ли он, что мы – два поколения

политической эмиграции из Советского Союза? Слышал ли он вообще про Советский Союз? В связи с шумихой вокруг перестройки легендарная история побега Альперта из хрущевской Москвы через Восточный Берлин повторялась в девяностых годах в разных вариантах и версиях – и в лондонской прессе, и по русскоязычному радио. Но кое-какие детали о судьбе Альперта я до сих пор узнаю лишь в частных беседах с ним. У меня в свое время бродила в уме идея романа, романизированной биографии невозвращенца Виктора Альперта – нового Владимира Печерина – героя эпопеи той эпохи, современного типа божественного странника-пилигрима в конфликте с тоталитарной системой. Речь шла о пилигриме ресторанной жизни – от столика к столику, от дверей до дверей. Меня интриговала и завораживала в его темпераменте странная смесь скрупулезности, дотошности до занудства в соблюдении правил и ритуалов в его ежедневной светской и ресторанной жизни и одновременно его анархизм и радикализм его взглядов, где романтическая наивность сочеталась с фанатичной одержимостью одной-единственной идеей. Как выяснилось позже из рассказов самого Альперта, я несколько романтизировал его облик. Хотя идея побега из тюрьмы сама по себе романтическая.

Он добился своего: попал в Берлин с первой делегацией советских студентов в хрущевскую эпоху дружбы народов, фестивалей молодежи и мира во всем мире. Советский Берлин оказался еще более серым, чем Москва, и цензура там была строже. Музеи, музыка, милиция – все классическое, без выкрутасов, по регламенту. Цензурировали даже Брехта. Но Берлинской стены тогда еще не было. Идея у Альперта была простая: надо было оторваться от делегации, сесть в метро и выйти в капиталистической «западной» зоне. И просить политического убежища. Дальше начинались детективные подробности. Как объяснял мне Альперт, главное, чтобы тебя не задержали по дороге, в вагоне берлинского метро. Для этого надо было выглядеть иностранцем. Но что значит: выглядеть как иностранец? Это почти метафизический вопрос. Конечно, если ты не родился с оливковой кожей венесуэльца. Или, упаси господь, еще черней. Почему иностранец в России всегда узнавался с первого взгляда? Что в нем такого было, что советские люди тут же различали в нем человека не от мира сего, подданного иностранной державы? Иностранные тряпки, конечно, но, даже если натянуть на иностранца рабочую телогрейку с кирзовыми сапогами, его все равно с местным не спутаешь. Почему? Для этого надо взглянуть на уличную толпу: иностранец выделялся в советской толпе своей прямоотой. Вокруг были люди физически сгорбленные или согбенные страхом и заботами, собственной угрюмостью. Иностранец выделялся своей прямоотой и открытостью взгляда, поднятым подбородком, расправленными плечами, готовностью улыбнуться. «Ну да, – согласился Альперт, – как в известной песенке: я милого узнаю по походке». Но там, в этой цыганщине, есть и строчка: он носит брюки галифе. В таком галифе «в Москву он больше не вернется, оставил только карточку свою». Альперт обдумывал, в каком галифе ему появиться в Берлине, чтобы больше в Москву не возвращаться.

Короче, прямоота или согбенность – да, конечно, но при всем при этом Альперту надо было отыскать в Москве иностранный костюм. Костюм при этом должен быть классическим, нейтральным, без выкрутасов, чтобы тому, кто в нем одет, стать в Берлине невидимым. Чтобы на тебя смотрели, но не замечали. Для этого ты должен выглядеть как все вокруг тебя. Чтобы стать невидимкой, ты должен переодеться. Человек-невидимка надевает на себя костюм, перчатки, шляпу и даже черные очки, чтобы скрыть пустоту своего невидимого присутствия. Иначе ему не донести чемодан от квартиры до вокзала. Чемодан плыл бы по воздуху сам по себе, и все бы поняли, что его несет человек-невидимка. Чтобы спрятаться от людей, человек-невидимка должен был стать видимым, стать как все. Ты облакал невидимое в маску обыденности. Ты создавал видимость – условность – реальности. У Достоевского в начале романа «Идиот» есть подробное описание того, как нелепо был одет князь Мышкин в глазах русских соседей по вагону. В нем в России сразу можно было узнать иностранца. Альперту надо было,

наоборот, одеться по-иностранному так, чтобы в нем никто не смог узнать советского гражданина.

Казалось бы, дело не слишком сложное. Но это только кажется. Он рылся в семейных сундуках (старые вещи не выбрасывались), раскопал в огромном семейном кофре допотопные штиблеты, совершенно непохожие на советскую обувь. Дедовский двухбортный пиджак сталинской эпохи был из добротного сукна. Вместе с ленинским галстуком в горошину Альперт стал одевать его, посещая коктейль-бар на улице Горького, где он принципиально общался с друзьями исключительно на английском. Нашел изъеденные молью белые нанковые штаны деда (он был до революции фармацевтом в Каунасе). В этих поисках он был в состоянии перманентного лихорадочного возбуждения. Ощущение риска – с маскарадным переодеванием. Он рыскал по комиссионкам, бродил по рынкам, знакомился с фарцой – из тех, кто приторговывал иностранной одеждой. Все это, конечно же, на глазах у органов, ну и что? Ну ищет молодой человек экзотический костюм – и что? Молодежь всегда модничает. А взрослые за этим наблюдают. И это был спектакль.

Для Альперта эти поиски были увлекательными – как в детективном романе. Он обошел все комиссионки – от Арбата до Марьиной Рощи. Попадались лишь старомодное тряпье или дорогой китч. В одной из комиссионок Альперт нашел лишь достойный темно-синий в полоску галстук, несколько похоронного вида, но зато без синтетики, как и дедовский, в горошину. Дальше дело не двигалось. Находились брюки, но они не подходили к пиджаку. Конторы индпошива еще кое-где остались, но все портные европейского класса или бежали в Европу с революцией, или были расстреляны Сталиным, или сами перемерли, окутанные облаком нафталина и пропитанные запахом советской валерьянки. Я лет на пятнадцать моложе Альперта, но и у меня еще жив в памяти о советском детстве отчетливый запах нафталина из семейных сундуков: мы рылись в старых вещах для детского маскарада в домашней кутерьме под Новый год. Запах нафталина и еще валерьянки – постоянные сердечные приступы у старших в доме: запахи советского страха и государственных праздников.

2

Тем временем в кафе напротив ситуация явно усугубляется. Официант появляется вместе с грузным человеком в белой рубашке с бабочкой и в фартуке – то ли это шеф-повар, то ли владелец заведения. Официант стоит чуть поодаль и внимательно вслушивается в загадочный спор своего шефа и бородача. Бородач отмахивается от них презрительным взмахом руки и пускает им сигарный дым в глаза. Остальные посетители за соседними столиками начинают прислушиваться к скандалу.

Альперт – один из тех, кто может рассказывать о какой угодно ерунде, как будто это событие мирового масштаба или детективный роман. Есть такие люди: что бы с ними ни произошло – увидел старого знакомого в автобусе или заметил новую витрину магазина на углу, – все это воспринимается ими как невероятное приключение. Все им кажется страшно занимательным. Я всегда слушаю Альперта с улыбкой. Но его рассказы о Москве пятидесятых – это несколько иной колорит. Тут у Альперта в голосе возникают романтические нотки, голос слегка дрожит. И при этом, как бы ни отклонялся он от сюжета, всегда в этих анекдотических или страшных ситуациях сквозил один и тот же мотив, цель и смысл которого трудно сформулировать, но этот мотив всегда присутствовал, в этом не было никакого сомнения.

Он мечтал о мифической загранице, о Западе, чуть ли не с детских лет. Что там за железным занавесом? Первые стилиги. Коки, брюки клеш, а потом дудочкой. Или сначала дудочкой, а потом – клеш-галифе. И уже студентом, когда у него появились карманные деньги, он интуитивно почувствовал, что в советской Москве ресторан был своего рода заграницей. Это была уэллсовская дверь в другой мир. Заграница – где все по-другому – открылась ему в ресторане, куда его впервые привел влиятельный советский дядюшка. Я тоже помню эти душноватые, с дурманящим запахом портвейна, папиров и шашлыков, со скатертями в пятнах и с хамством официантов барочные залы с пыльными колоннами. Но для поколения Альперта доступная всем в те годы советская мечта о Западе была мечтой ресторанной. Официант как демонстрация того, что капитализм существует даже в стране победившего социализма. В ресторане государство исчезает, остается официант и ты, и закон зоологического капитализма: ты ему деньги, он – обслугу и продукт.

О каждом из знаменитых московских ресторанов ходили легенды: слухи об отдельных кабинетах с прекрасными дамами в «Арагви», похмельное хаши для избранных в «Арарате» или кофе эспрессо в зеркалах бара «Метрополь» с иностранцами под надзором сексотов. Упоминался Юрий Олеша в «Национале» с бокалом французского коньяка за загадочным яблочным пирогом под названием «пай». Упоминались приватные концерты джаз-оркестра Утесова в «Пекине». Альперт на последних курсах университета зарабатывал вполне приличные деньги репетиторством и переводами. Неожиданные «башли» (как тогда говорили) возникали и у друзей. Подбрасывал деньги и отец-фотограф. Альперт зачастил с друзьями в ресторан «Узбекистан» на Неглинной («Узбекистон» – так, по-узбекски, называли ресторан его знатоки и завсегдатаи). Фасад ресторана был в стиле классического ар-нуво, вроде лондонского Палладиума. Но гипсовые балясины на сводах потолка внутри, базарно и пестро раскрашенные, и витые колонны с хрустальными канделябрами воспринимались как восточная роскошь, этническая экзотика. В этом ресторане, обожаемом, между прочим, партийными чинами, у Альперта возник необычный блат.

Альперт с парой близких друзей-студентов часто захаживал сюда часов в одиннадцать утра, как бы на завтрак, прогуливая университетские лекции, когда в ресторане практически не было посетителей, или совсем поздно вечером, когда здесь кончалась ресторанная гульба. Где еще найдешь такой рай по дешевке для молодых жадных ртов: манты и беляши, пельмени и люля-кебаб, шурпа и бастурма, – все это было по карману даже студентам. Альперт назвал

эти ресторанные пьянки по-старомодному «дружеской пирушкой». А узбекский коньяк они притаскивали, ради экономии, с собой, в студенческом портфеле, как бы под полой, а в действительности на глазах у официанта по имени Донато. Тот делал вид, что не замечает. А потом и сам присоединился к их столику на стаканчик-другой. Этот официант, он же по совместительству и ресторанный повар, сыграл ключевую роль в дальнейшей жизни Альперта.

Альперт, говоря о Донато, впадал в восторженное экстатическое состояние. Он был старше Альперта года на четыре, но по опыту, казалось, и на все сорок, хотя и с темпераментом подростка: латиноамериканский энтузиазм – и в словах, и в жестах. Это был, короче, человек без возраста, хотя и с бородкой. Ресторанный работник Донато из Венесуэлы бежал в Советский Союз от южноамериканской диктатуры, хунты и язв капитализма. Он был коммунистом-идеалистом. Он прибыл в Москву, чтобы изучать марксизм-ленинизм и подрывную деятельность. Но из него не вышло ни диалектического материалиста, ни толкового террориста. Его в конце концов выпустили из идеологического карантина и нашли ему работу по профессии – поваром. Милый и веселый был человек (говорил Альперт), хотя и заядлый коммунист в юности. С возрастом он несколько приостыл в своем прокоммунистическом энтузиазме. От коммунизма его у нас в России немножко отучили.

В его рассказах мелькали не ядерные боеголовки и прибавочная стоимость, а сомбреро, мамаситы и мустанги. Альперт и его друзья слушали открыв рот (куда лился коньяк) про реку Ориноко и генерала Боливара, про кокаин маковых полей и вулканы революции, про слонов и крокодилов капитализма, про водопады и всадников без головы, про голых девок в барах и про коммунистов с кокаином в джунглях. Альперт узнавал от Донато про марки модных машин и как зачесывать кок под Элвиса Пресли. Собственно, Альперт и его товарищи стали регулярно приходить в «Узбекистан», чтобы услышать очередную южноамериканскую историю о революционной жизни за рубежом из уст этого бородатого чудака. Они открывали тяжелые двери советского ресторана и попадали за границу. Все это они узнавали от Донато отрывками, когда он присаживался к их столику минут на пять между беганьем в кухню и к другим столикам. Но эти пятиминутки складывались в эпическую историю нового Одиссея: тысяча и не одна бессонная ночь в разговорах и фантазиях о далеких странах и ресторанах. Возвращаясь домой на рассвете, Альперт повторял, как мантру, магические слова, услышанные от Донато: «Арепа – лепешки, чичаррон – свиная кожа». Эти слова внушали надежду. Позже начались и периодические встречи в разных кафе и забегаловках Москвы. Пока либеральная Москва изучала в самиздате свидетельства жертв культа личности Сталина, Альперт и его компания открывали для себя Конрада и Оруэлла на английском, Кафку по-немецки и Сартра по-французски. Книжки и водка, дешевые забегаловки и любовь. Собственно, эта жизнь, как я понимаю, не слишком отличалась от той, которую вели в ту эпоху богемные бездельники Гринвич-Виллидж в Нью-Йорке или лондонского Хэмпстеда.

Альперт и Донато сдружились: Альперт знал немецкий, английский и французский, то есть был для Донато крайне нужным человеком, поскольку Донато затеял активную переписку на разных языках с другими иностранными камрадами о диалектических путях победы марксизма-ленинизма в отдельно взятой стране и опасностях левизны в коммунизме. У этого венесуэльца были загадочные связи. В свое время его поощряло в этих контактах идеологическое гэбистское начальство. Но Альперту очень быстро стало ясно, что эпистолярная активность Донато с зарубежными марксистами была в действительности прикрытием для обмена разнообразными кулинарными рецептами и даже пересылкой друг другу разных экзотических специй с четырех континентов. Коммунизм выветрился, а любовь к мясу – готовке мясных блюд – осталась, что не удивительно для южноамериканца. Такие манты, как у него в «Узбекистане», ни один узбек не мог приготовить. Не говоря уже про чебуреки с ягнатиной. Даже элементарный люля-кебаб пузырился соком и распевал у него мексиканские романсы. Благодаря Донато Альперт быстро изучил все вариации кулинарной экзотики нацменьшинств СССР – татарский

плов и узбекские манты, в его желудке отыграли дагестанские хинкали и сибирские пельмени, была изучена специфика аджарского хачапури в грузинской кухне. А из переписки Донато с коммунистами-интернационалистами Альперт-переводчик узнавал о неаполитанской моцарелле-буффало, о тайландских травах для зеленого карри и специях для марокканского кускуса.

Но о чем бы Донато ни рассуждал, он со слезой на глазах всегда вспоминал одно мясное блюдо. Из дикого вепря. Совершенно уникальное и непостижимое по своим кулинарным особенностям. Лирическим монологом об этом блюде закачивалась чуть ли не каждая встреча с Донато. Выяснялось, что опробовать это блюдо можно лишь в богом забытой родной деревушке Донато, в Венесуэле, на границе с Колумбией. Описывалась деревня, горная долина, отель-ресторан «Симон Боливар» на главной площади, текила под лайм и «сочное мясо дикого вепря» на вертеле. Почему бы его прямо здесь не приготовить? – спрашивали его. Мясо другое. В «Узбекистане» никто серьезно не соблюдал мусульманский *халал*: для пельменей нужны три сорта мяса с добавкой визиги. И тем не менее ресторан узбекский и не создан для блюд из свинины. А такого дикого вепря все равно не найти нигде, кроме Южной Америки. Но ведь есть дикие вепри и у нас в Советской стране? Есть. Например, в белорусских лесах члены политбюро охотятся на дикого вепря. Но вепрь другой. Не тот вепрь в Беловежской пушце. И главное – тут для этого блюда нет одного существенного ингредиента. Уникальный острый соус. Без него мясо дикого вепря – не вепрь. Назвать не могу, вы меня уважать перестанете. Ну скажи, скажи, Донато! Нет, никогда! Никогда!

Так Альперт и уехал с этой загадкой о легендарном мистическом блюде из дикого вепря. Уехал отчасти с целью эту загадку о великом «никогда» разгадать. Уехал в костюме, который раздобыл ему этот самый Донато, венесуэльский кулинарный маг. Он выторговал ему тройку темно-голубого сукна, как раз под полосатый галстук, который у Альперта уже был. Донато утверждал, что в таких костюмах ходит весь Белый дом в Вашингтоне. Этот костюм ему подарил заведующий транспортным отделом в американском посольстве, отбывая обратно к себе в Филадельфию. (Бородатый Донато пользовался популярностью среди здоровенных двухметровых мужиков-иностранцев.) Костюм был огромным, но явно зарубежного производства. Его легко подкоротил еврей-портной из Марьиной Рощи. Настоящий иностранный полосатый галстук голубых колеров завершал маскарад. Кожаные туфли нашлись в сундуке покойного дядюшки Альперта. Все это он взял с собой в чемодане (как артист кабаре на гастролях), когда был чудом (об этом позже) зачислен в поездку делегации советских студентов в Германию.

В Восточном Берлине он выглядел как американец, попавший в советский сектор из Западного Берлина. Он сумел отделиться от делегации в музее с двумя выходами. Музей архитектурно был выстроен в виде полукруга, своего рода подковы, с революционной панорамой эпохи социалистического Веймара в центре. Из этой подковы было соответственно два выхода. Любопытно, что, когда надо делать выбор, есть всегда два выхода. Иногда даже три. Но выход может быть только один. Ты всегда можешь воспользоваться только одним выходом. Это видимость, что выходов два. Выход только один. Или вообще нет выхода. В один из выходов он вышел, пока приставленный к делегации гэбист рассматривал статуи древнегреческих героев без рук и без ног. Дверь из музея вела в другую жизнь: был виден кусок бульвара, был слышен звон трамвая. Как в Москве, Яузский бульвар. Может, не надо? Когда вся делегация завернула в зал направо, он шагнул налево, на улицу. Еще не поздно было сделать вид, что вышел на свободу случайно: надо дождаться экскурсовода или кого-нибудь из администрации музея, сказать, что он потерял свою тургруппу в музейных коридорах. В памяти проплыл столик «Узбекистана» и Донато с рюмкой коньяка, хинкали и селедка под шубой, самиздат с Солженицыным и бублики с маком. На глазах у персонала музея Альперт вышел, не попрощавшись, в ту открытую дверь, куда обратно нет входа. И дошел до ближайшей станции метро.

Все, кто бывал в Берлине, знает про существование в советскую эпоху станций метро, где поезда из советского сектора не останавливались, потому что эти станции находились в запад-

ном секторе Берлина. Это были станции-призраки. Восточные берлинцы сидели в вагонах с запертыми дверями и смотрели на жизнь западных берлинцев, стоящих на платформах, куда они не могли ступить. Но в середине пятидесятых годов никакой Берлинской стены еще не было. Берлинцы могли ездить по всем секторам. Тебя, впрочем, могла остановить и проверить документы любая военная разведка и администрация сектора. Главное, чтобы не попасться на глаза какому-нибудь советскому *смершнику* – из тех, кто высматривает потенциальных *дефекторов*. Берлин пятидесятых был битком набит шпионами. «Я боялся, что меня узнают как своего, – говорил Альперт. – Не выглядеть как свой – в этом была главная задача. Но меня трясло изнутри. Я боялся, что меня будет трясти и снаружи. Какая-то германская старушка спросила меня (по-немецки, естественно): все ли со мной о'кей, я, видимо, выглядел не слишком о'кей». Это был самый опасный момент. Больше на него никто не обращал внимания.

Он угадал, что поезд метро был уже в западном секторе, когда заметил яркую рекламу на платформах. Он вышел в Западном Берлине. Это был, если не ошибаюсь, Кройцберг. Несколько остановок метро, и твое советское прошлое обрушилось, осталось за спиной облаком пыли. Ты стал человеком иного мира. Оставалось в нем зарегистрироваться – заявить о своем существовании. Недоразумения возникли почти сразу, когда на площади имени Адальберта фон Шамиссо он подошел к берлинскому полицейскому и заявил ему, что просит политического убежища. Полицейский участок был за углом. Там полицейский чин объяснил Альперту, что с таким немецким (безупречный немецкий Московского государственного университета) и с фамилией немецкого звучания Альперт может заведомо объявить себя – по происхождению – немцем. То есть не политическим беженцем, а возвращенцем – на свою историческую родину. Это гарантировало бы ему автоматическое получение немецкого гражданства. Это льстило. Действительно, один из прапрадедов Альперта был остзейским бароном, но у кого среди вильнюсоких евреев не было в семье остзейского барона? В который раз Альперту предлагалось выдать себя не за того, кем он являлся. Для того чтобы потомок остзейских баронов мог утвердиться на своей исторической родине, надо было сесть на трамвай, проехать две остановки, завернуть за угол, пересечь канал, повернуть направо, и через три квартала слева в переулке будет здание городского отдела регистраций браков, рождений и смертей, где можно будет подать заявление и заполнить анкету как немец-возвращенец, репатриант в поисках остзейских родственников. Альперт все это внимательно выслушал, набрался смелости и сказал четко, что никуда из полицейского участка он не выйдет. Он бежал от рук палачей тоталитарного режима, при чем тут трамвай? В таком случае, сказал полицейский, мы вынуждены вызвать американскую администрацию, потому что мы – в американском секторе Берлина; но вы, господин Альперт, об этом пожалеете, предупредил его берлинский полицейский. Альперт решил, что этот полицейский с его антиамериканизмом – возможно, коммунист (Кройцберг в те годы был рассадником левацкого радикализма). Через полчаса за Альпертом явились два представителя американского сектора. С этого момента и начались у Альперта весьма специфические отношения с Соединенными Штатами Америки. Как я уже говорил, многим читателям история его жизни хорошо известна, но были некоторые моменты, которые, по-моему, нигде не упоминались. Во всяком случае, я слышал их впервые. Например, первый шок от вида церэушников.

Дело в том, что они были одеты – шляпа, галстук, рубашка и, главное, костюм синего цвета – точно так же, как Альперт, разве что галстуки были не совсем такие же. У Альперта это был костюм из натурального сукна, а у этих агентов – имитация, синтетика, но кто там считает. Альперта это совпадение не столько изумило, сколько умилило. Он развеселился. Это ж надо: месяц за месяцем, чуть ли не год искать в сундуках родственников, в комиссиях и через фарцовщиков маскарадное одеяние, соответствующее в нашем воображении идеальному образу гражданина Западного Мира. И вот, после стольких трудов и дней, предстать перед статуей Свободы в форме агента ЦРУ! Вполне возможно, рассказывал Альперт, его ироническая

улыбка и взбесила церэушников: мол, кого этот «беженец» из себя воображает? не издевательство ли это с его стороны – одеваться как они? не провокация ли это?

И тут я неудачно рассмеялся. То есть я рассмеялся вполне к месту, потому что вся ситуация была нелепой, как в дешевом фарсе, да и сам Альперт рассказывал об этом эпизоде не без иронии. На этот раз, впрочем, выражение лица Альперта было скептически мрачноватое на протяжении всего ланча. Но профессиональные рассказчики всегда рассказывают самые смешные истории с крайне серьезной физиономией. Я расхохотался не потому, что эти эпизоды смешны сами по себе, а потому, что в подобные моменты прошлое оборачивается у нас на глазах в нечто совершенно непредсказуемое. Бессвязность вдруг обретает смысл. Это смешно. Альперт снова вспомнил этот берлинский эпизод из прошлого именно сейчас, потому что он сыграл ключевую роль в его будущих отношениях с Америкой – главной теме нашего с ним разговора сегодня. Мой смех был вдвойне неудачным потому, что он был вульгарно громким, чуть ли не непристойным. Слишком много спиртного, типа маотай с лаймом? Я вдруг понял, как тихо в ресторанном зале. Несколько пар за другими столиками замолчали, как будто в шоке от неуместности моего хохота. Я перехватываю взгляд метрдотеля: он глядит так, как только они это умеют, – то есть прямо на меня, но при этом сквозь меня. В его взгляде я чувствую, неожиданно для себя, и шок, и презрение. Я чувствую, насколько неуместен и нелеп мой смех. Мне неловко, и я отворачиваюсь к окну, гляжу на улицу.

3

«Что вы там так внимательно разглядываете?» – спрашивает меня Альперт. Он заметил, что мой взгляд периодически устремлен через стекло ресторанной витрины на улицу. Сам он сидит спиной к стене, и окно у него справа, вне его поля зрения. Там за стеклом происходит заурядная жизнь Сохо. Наркоман, едва стоящий на ногах, пристаёт на углу к прохожим. Две напомаженные полуголые девушки выясняют отношения: одна в слезах. Клерки пробегают в обеденный перерыв с бутербродами и картонками с кофе или суши из Wasabi. Богемная толпа престарелых алкоголиков перед пабом со своими напитками, дымят сигаретами. «Странная сцена в баре напротив», – отвечаю я односложно. Важно не только кто наблюдает, но и за кем наблюдают, почему именно за этим человеком, а не за кем-то другим. Видимо, потому, что этот человек может потенциально изменить твою жизнь? Главное не на что мы смотрим, а почему мы на это смотрим. Я не знаю, чем привлекла меня фигура за столиком через улицу напротив. Я вижу, как рядом с грузным бородачом за столик подсаживается шеф заведения, пузатый, в белой рубаше и жилетке, с бабочкой. Он ставит на стол квадратную бутылку зеленого стекла – явно спиртное: джин? текила? виски? Разливает по стопке – shots. Они вместе разглядывают меню, бородач тычет в меню сигарой, хохочет, отшвыривает меню, и оно падает на тротуар. Шеф встает и удаляется. Подбегает официант, чтобы подобрать меню. Зачем мне все это рассказывать Альперту?

Но внимание Альперта уже отвлечено нашим официантом. В этот момент нам принесли рыбу в фарфоровой посудине с крышкой. Крышку приподнимают два официанта. Аромат невероятный. «Это карп», – говорит Альперт и, как всегда, умудряется как бы между прочим прочесть короткую лекцию о том, что, скажем, карпа в Америке едят только китайцы и евреи. Нации-долгожители, потому что карп – рыба-долгожитель. Мы оба, естественно, вспоминаем роман Олдоса Хаксли, где английский аристократ начинает питаться только внутренностями живого карпа; он достигает возраста в несколько столетий (карпы живут до пятисот лет), постепенно превращаясь в обезьяну: все живое постепенно возвращается к своему изначальному биологическому виду – собака, если будет жить очень долго, превратится в волка, человек – в обезьяну. Ну да, а антисоветчик-диссидент, слишком долго проживший за границей, превращается в русского патриота?

Я замечаю, что Альперт снова стряхивает с рукава невидимые крошки. Не в первый раз. Это был своеобразный тик – я до нашей встречи сегодня не замечал за ним этой привычки. Переложив с места на место приборы рядом с тарелкой, Альперт продолжает свою историю американских приключений. Представители ЦРУ в темно-голубых костюмах и шляпах пожали ему руку, поздравили с прибытием в свободный мир и посадили на заднее сиденье лимузина. Его посадили в лимузин между двумя бугаями из ЦРУ, плотно, разве что наручники не надели, и повезли в неизвестном направлении. После первых минут возбуждения и восторга – черный катафалк, путь к свободе под охраной – он почувствовал, что веселый, полный риска маскарад с переодеваниями очень быстро стал походить на мрачноватую фантасмагорию. Он вглядывался в затемненные окна лимузина, оказавшись как бы в передвижной американской тюрьме. За окнами лимузина мелькал мир, свободный от нацистов, коммунистов и евреев. Он понял, что мир не совсем свободный, когда ему сказали, что они пересекают границу с советской зоной. Когда они пересекали советский сектор, на него рявкнули: «Go down, you bitch!» Это был неожиданный для Альперта лексикон. Его столкнули с сиденья и прижали к полу. Тут Альперт и почувствовал, что его принимают за кого-то, кем он не был и быть не мог. Кто ты, Виктор Альперт? Кто тебя выдумал? Этот вопрос висел топором в воздухе в особняке где-то под Берлином, куда его привезли – вроде бы для того, чтобы зарегистрировать в статусе беженца.

Допрашивал неприятного вида восточный европеец с лицом алкоголика, в потрепанном голубом костюме. Он плохо говорил по-русски. Он доказывал Альперту, что он шпион, притворяющийся диссидентом. Альперт говорил, что он не шпион и не диссидент. Он просит политического убежища как бывший гражданин страны тоталитарного режима. Ему приходилось доказывать, что он не верблюд. Однако доказать, что ты не верблюд, оказалось не так просто. В Советском Союзе на публике приходилось притворяться не тем, кем ты считал себя дома. Теперь ему надо было доказать, что он бежал из дома в Западный Берлин, чтобы стать тем, кем он и был на самом деле у себя дома. Как он понял, церэушники не могли поверить, что интеллигентный на вид молодой человек, университетский студент, вроде Альперта, был выпущен за границу без шпионского задания. Кто, кроме шпиона, мог успешно пробраться из СССР в Западный Берлин и попросить политического убежища? Его спросили: «А почему вы решили покинуть родину?» – «Меня с определенного возраста стало от родины тошнить», – отвечал Альперт. Он имел в виду «тошноту» метафорическую. В ресторане «Узбекистан» его вовсе не тошнило. Но эту метафоричную метафизичность его ответа трудно было передать. Все его ответы вызывали недоумение. Работники секретных служб мыслят стереотипами. Альперт не соответствовал никакому стереотипу перебежчика. Альперт был для церэушников неразрешимым парадоксом. Этот парадокс разрешался неделя за неделей во время допросов тет-а-тет с неприятным типом с ущербным русским, тоже, кстати, в темно-синем костюме. Альперт постоянно поправлял его грамматические ошибки в русском языке – он у нас филолог-перфекционист, и это многим действует на нервы. На Альперта начинали раздражаться. На завтрак он отказался есть кукурузные хлопья. Он ненавидит хлопья с молоком. Кроме того, чудовищный разбавленный американский кофе. Казалось бы, Америка – производитель всех легендарных сортов кофе. Колумбия, Венесуэла. Да, та самая Венесуэла, где он в один прекрасный день осуществит мечту жизни и опробует мясо дикого вепря с мистическим острым соусом! Эспрессо он не дождался, но с утра Альперту вместо хлопьев стали давать вареное яйцо и тост. Его манера есть яйцо вызвала недоумение у церэушников. Они не могли поверить, что советский студент ест вареное яйцо как английский аристократ. То есть он не разбивает скорлупу яйца ложкой сверху, а надрезает верхушку вместе со скорлупой ножом. А вареный горошек не подцепляет вилкой, как ложкой с зубцами, а прижимает его ножом к обратной стороне вилки, как это полагается в хороших домах. Где он родился? Из какой семьи? Кто его отец? Отец Альперта был на пенсии, но как еврейский фотограф высшего класса, ветеран Второй мировой военкором, в прошлом работал в «Правде» и «Огоньке» и фотографировал не только генералов и парады на Красной площади – его приглашали прямо в Кремль. (При этом мама так и не избавилась от привычки собирать сухари – еврейский страх перед тюрьмой и сумой.) Кто ты, студент Альперт? Не выдумал ли тебя Кремль как персонажа детективной истории? Этому американцу трудно было поверить, что человек из медвежьей России за железным занавесом говорит на трех европейских языках (у Альперта в детстве были частные репетиторы – западные коммунисты на пенсии из издательства «Прогресс»). Но надрезать макушку яйца, а не разбивать ее вдребезги ложкой научил Альперта конечно же не кто иной, как Донато. У Альперта хватило ума не упоминать этого имени сотрудникам ЦРУ. Не было рядом ни Донато и никого другого, кто мог бы подтвердить тот факт, что Виктор Альперт – это Виктор Альперт. Допросы продолжались. На первом этапе Альперту это даже нравилось: за ним наблюдали, к нему прислушивались, продолжали его расспрашивать. О папе, о маме. О голоде и холоде. О друзьях детства, об учителях в школе. Пионерский галстук, комсомольский значок. И так неделя за неделей. (С тех пор Альперт недолюбливал мемуарную литературу.)

Но в конце концов его этими расспросами-допросами довели до истерики. Ему не было страшно. Он воспринимал этот идиотизм как бюрократический абсурд, как очередную нелепость на пути к свободе. Я понимающе хмыкнул: именно все так и есть. Когда ты у себя дома, никого не интересуешь, кто твои предки и родственники. Но вот ты вырвался на свободу. А

что такое свобода? Свобода – это когда ты избавился от семейного ярма, от племенного прошлого. И вот тут-то от тебя и требуют полного отчета о твоём происхождении: папа, мама, тетя-дядя, двоюродная бабушка, троюродный племянник, год вступления и выхода из комсомольской организации, участие в диссидентском движении, обрезан или готов подставить еще одну щеку? Тяготился ли семейным ярмом? Презираешь свое племенное прошлое?

И Альперт устроил истерику. Он был склонен к истерикам в детстве, говорит Альперт. Избалованный ребенок. Он помнит, какую истерику он закатил в четыре годика, когда ему подали манную кашу не с малиновым, а с клубничным вареньем. Он бил кулачками по столу, задел ложку, и она совершила пируэт с плевком манной каши в лицо мамы. Папа отхлестал его ремнем. Благодаря своей истеричности Альперт, собственно, и попал в студенческую поездку в Германию. На последнем курсе университета его вызвали в партийный комитет и спросили, почему он не вступает в компартию? Альперт вышел из себя и стал орать, что он не собирается вступать в сталинскую партию, на чьей совести миллионы невинных жертв, погибших в лагерях и тюрьмах. Все думали, что после такой речи его выгонят из университета и скорей всего посадят. Но через неделю, в том же феврале 1956 года, Хрущев произнес на партийном съезде знаменитую речь, разоблачающую культ личности Сталина и его преступления. В университетском парткоме решили, что у Альперта загадочная личность и тайные связи с политбюро. И его тут же включили в группу студентов с дружественным визитом в Берлин. Уже тогда его принимали не за того, кем он являлся.

Истерикой закончился и месяц тошнотворных допросов в Германии. Церэушники своими нелепыми вопросами о его якобы тайных связях с политбюро походили на назойливых мух. Он знал, что за ним следят, что его не оставляют в покое. Он взбунтовался, как взбунтовался против советской власти, против родительской опеки. Он знал, что эти допросы кончатся: перед внутренним взором у него сияли магические силуэты небоскребов Манхэттена, огни террас кафе Парижа и уютные пабы Лондона. И вот он оказался на свободе, лицом к лицу с долгожданным Западом, изъясняющимся на полуграмотном англо-русском языке. Через несколько недель таких вежливых диалогов в состоянии хронической бессонницы он понял, что его уютная комната с окном, смотрящим в глухую стену, ничем не отличается от тюремного карцера. Он стал колотить в дверь и объявил администрации, что начинает голодовку. В кабинете его принял еще один начальник: американский джентльмен, одетый в темно-синее сукно американского сенатора. Он внимательно выслушал Альперта. Были подписаны документы и сертификаты, и Альперта с вещами отправили через контрольно-пропускные пункты в лагерь перемещенных лиц за полтысячи километров от Берлина, в сторону Цюриха.

Это был городок с символическим названием Walke. Альперту слышалась в этом названии Валка. Сюда свалили в одну кучу всех подряд еще со времен Второй мировой. У Альперта был временный вид на жительство без права на работу. Выдавали минимальное пособие – прожиточный минимум. Днем можно было выходить в город. Там, на углу местного парка с каналом, он обнаружил лоток, где продавали пиво с отличными сосисками и свежей булочкой, дешево и сердито, что несколько примиряло его с действительностью. Он всегда выбирал толстую сардельку-боквурст на бумажной тарелочке со щедрой ложкой горчицы. У продавщицы было веселое широкое улыбочивое лицо. «Brodchen?» – заботливо спрашивала она и, не дожидаясь ответа, аккуратно укладывала рядом с сарделькой белую хрустящую булочку. Альперт вежливо раскланивался и устраивался на лавочке под спокойным серым германским небом. Bockwurst mit Brodchen und Weissbier, danke, вот и все. От горчицы неожиданно щипало глаза, он морщил нос, прикладывал к глазам салфетку и перехватывал улыбку продавщицы в окошке лотка. Допив пиво, он кормил воробьев остатками булочки и думал, что, может быть, можно жить день за днем вот так вот, кормя воробьев под сенью каштана и дружеской улыбки, без одержимости одной-единственной идеей – на маршруте от рождения до смерти.

Но к вечеру он обязан был вернуться на территорию лагеря перемещенных лиц за забором и с проходной. В Советском Союзе его ни разу не вызывали на допрос в КГБ и о лагерях с тюремным режимом он слышал только от бывших жертв сталинизма. И вот, перепрыгнув железный занавес, прорвавшись в свободный мир, он был тут подвергнут изматывающим допросам и отправлен в лагерную зону. Выяснилось, что, переместившись по другую сторону железной советской стены, ты в эту же стену упираешься – но, так сказать, спиной. В одноэтажных блоках, вроде мотелей, жили бывшие убийцы, дезертиры и наркодилеры. В этой свалке в бараках перемещенные советские гэбэшники дискутировали с бывшими эсэсовцами, что эффективней на допросах: вырывать ногти или сажать на копчик (это упражнение они назвали немецким словом *uebunген*). Они рассказывали крайне любопытные истории о том, как надо избивать подсудимого, не оставляя синяков, какие выворачивать суставы и чем подпалить кожу. И где достать гашиш. Все это было очень важно и интересно. Это была человеческая помойка. Валка. Свалка. Это был конец. Оставался сон о Венесуэле: горная дорога, сомбреро и гитара, река Ориноко, Боливар, и наконец открывается вид на долину, закат солнца, и внизу, под яркой вывеской бара (как рассказывал Донато о своей родной деревне) мангал с дымящимся мясным блюдом – кулинарным чудом. Чудо произошло, но в иной географии.

Отдавая в чистку уже изрядно обтрепавшийся синий костюм, Альперт случайно обнаружил на вкладе внутреннего кармана застрявшую страничку. Это был обрывок перевода одного из писем Донато своему корреспонденту с вопросами об очередном кулинарном курьезе. Суть дела понять было сложно, но на обороте страницы был лондонский адрес этого корреспондента Донато. Альперт, недолго думая, послал этому кулинарному коммунисту открытку. Описал свою ситуацию со ссылкой на общего камрада Донато. Через неделю пришел конверт с приветственным письмом и почтовым переводом на сотню долларов, а еще через неделю – анкетная форма и вопросник для прохождения теста на работу в Русской секции Всемирной службы Би-би-си, где, как выяснилось, и работал этот эпистолярный товарищ Донато. Альперта пригласили в Лондон. Тест на Би-би-си он сдал успешно. Но началась бюрократическая морока с разрешением на работу политического беженца. Так думал Альперт. В конце концов Альперту дали понять, что за ним тянулась телега – двусмысленный отчет-характеристика ЦРУ, ксива (как выяснилось потом из досье) политбеженца *bona fide*, то есть выпущенного на веру, *with benefit of doubt* – при отсутствии доказательств и его вины, и правдивости его показаний. С таким «волчьим билетом» перебежчика с неустановленным прошлым путь в пропагандистский эфир Би-би-си или на американское радио «Свобода» был для него закрыт. Для русской эмиграции в Лондоне он был экзотической птицей и поэтому на подозрении: с одной стороны, он был слишком осведомлен о том, что происходит в современной России, а с другой – он слишком хорошо для советского гражданина говорил на иностранных языках. Так не бывает. И поэтому не должно быть. Значит, агент политбюро. С филологией на этом все закончилось. Но британский ангел-советолог устроил Альперта в корпорацию по техническому и синхронному переводу.

Деньги в ту эпоху за подобную работу были лихие. И он их лихо тратил. В первую очередь – на одежду, приватные клубы и на рестораны. «It's been a fine life! Вы знаете, когда я прохожу мимо гастронома Fortran & Mason, я всегда туда заглядываю, чтобы купить что-нибудь вкусненькое – деликатесное, какой-нибудь пай или паштет», – говорил Альперт. В гости к своим новым английским друзьям он никогда не являлся без бутылки шампанского. И в этой ресторанно-клубной жизни Уэст-Энда он довольно быстро стал своим человеком. Лондон не Париж – это город, где легендарные рестораны, бары и частные клубы без вывесок, их не рекламируют в глянцевах журналах. Тут надо быть принятым в эту масонскую ложу философствующих гурманов и пьяниц. Но главное – он стал делать собственные ресторанные открытия – заведения на отшибе, в пригородах, пролетарских частях Лондона. Ему не надо было заглядывать в меню: он заранее знал, чего ждать от той или иной ресторанной кухни. С ним

стали советоваться влиятельные люди, выбирая на вечер ресторан. С ним стали советоваться и сами рестораторы. Он всегда мог подсказать главное блюдо, порекомендовать реестр вин. Он стал вести ресторанный страничку в районной газете богемного Хэмпстеда, довольно быстро перебирался в лондонскую вечерку *Evening Standard*, и через пару лет за его эссе о кулинарных изысках разных стран и народов охотились глянцево-журналы: *Vogue* и *Tatler*, *Playboy* и *Vanity Fair*. Более того, его стали приглашать с популярными лекциями по всей Европе. Он смог наконец задействовать весь арсенал своих университетских романо-германских знаний и остроумно увязывал кулинарию и мировую историю (он, конечно же, первым в семидесятых годах перевел на английский эссе Вильяма Похлебкина об алкоголе: производство спирта открыли монахи, но водка поддерживала военный дух солдат, и отсюда возник конфликт между государством и церковью). Он объездил весь мир, от Кейптауна до Рейкьявика, от Гибралтара до Токио.

Но Америка лишь маячила на горизонте. От визита в Соединенные Штаты он долго уклонялся. Как только речь заходила об американском образе жизни, у него в монологах тут же начинали мелькать лишь маккартизм, Вьетнам, Ку-клукс-клан и Кубинский кризис. Он всегда ощущал себя человеком Европы (говорил он). Берлинский эпизод, конечно же, не уходил из памяти. Американский акцент и бездарный русский, резкий запах мужских духов (запах советской парикмахерской) у следователя с восточноевропейским акцентом не испарились из памяти. Это сказало даже на отношении Альперта к идее поездки в Россию, когда железный занавес рухнул. Никакой ностальгии в обычном смысле он никогда не испытывал. России, которую он знал, больше нет, он это прекрасно понимал. Конечно, всем нам хочется ощутить заново – как бы это сказать? – нежность воздуха на лице, свет и запах в воздухе – и леса, и полей, дождя. И запах в квартирах – потому что другая еда, запах других штор, ковров, сигарет, советский запах сталинской благоустроенной квартиры – в доме твоих родителей. Это была ностальгия по запахам юности. Он эти запахи чувствовал даже во сне. Ему не раз снилось, как он движется по московской улице к своему дому и его неожиданно останавливает некто в голубом костюме и говорит ему с американским акцентом: «Мы в ЦРУ всегда знали, что вы тайно проберетесь в Россию, чтобы доложить своему начальству в КГБ о наших государственных тайнах». И во сне Альперт понимает, что обратно в свободный мир его никогда не пустят, он в черных списках. Однако годы шли, и за сроком давности протоколы берлинских допросов были рассекречены, его личность была подтверждена десятками именитых соотечественников, побывавших в Европе, дело его было обжаловано и пересмотрено в его пользу комиссией Конгресса. В конце концов Альперт милостиво согласился пересечь Атлантику по приглашению главного ресторанный критика из модного кулинарного еженедельника *The Rotten Egg*.

Собственно, Альперт и пригласил меня на ланч, чтобы рассказать о неожиданных перипетиях этого визита в Штаты. С самого начала встреча с Америкой была для Альперта несколько дезориентирующей. Нет, его не раздражала проверка на пограничном контроле. Ему нравилось давать отпечатки пальцев и заглядывать в камеру так, чтобы глаза были на определенном уровне между двумя горизонтальными линиями: это внушало ему уверенность, что за ним наблюдают, о нем беспокоятся. Везете ли вы с собой бациллы чумы? Он отвечал: нет, не везу. А мысли? Это никого не касается. Но это ощущение стабильности кончилось, как только он вышел на улицы Манхэттена: желтое разухабистое нью-йоркское такси – ты проваливаешься вглубь на заднем сиденье так, что твои колени доходят чуть ли не до носа; водитель за пуленепробиваемым стеклом издает загадочные звуки, не имеющие отношения к английскому; и, наконец, вид Манхэттена – именно такой, каким он Альперту снился: небоскребы в ореоле собственных огней, как ангелы со сложенными крыльями, как будто вот-вот взлетят на небо.

Он испытывал и радость, и тревогу. Он ощущал на себе отсветы рампы – театральной подсветки небоскребов Манхэттена, – как будто в юношеском сне о Нью-Йорке из эпохи своей университетской жизни. Остановился Альперт, конечно же, в отеле *Algonquin*, где в недалеком

прошлом на легендарных суаре за круглым столом упражнялись в остроумии штатные авторы журнала *New Yorker* – Альперт был одно время автором ресторанных скетчей из Европы для этого еженедельника. Он чувствовал себя как голливудская звезда или модный профессор диетологии. Лимузины, гиды, коктейли, крупные имена журналистики, владельцы ресторанных сетей, светские дамы. Но его ресторанные маршруты были далеки от гламурных снов. Он стремился не в пятизвездочные бары и рестораны Манхэттена – от Гринвич-Виллидж до *Upper West Side*. По просьбе Альперта его гид, гений этнической ресторанной экзотики, провез его по пригородам трущобного Джерси-Сити. Лучшие рестораны нужно искать не среди небоскребов, а в пролетарских пригородах. Альперт это прекрасно знал по своим вылазкам в Лиссабон и Стамбул, Будапешт и Каир. И то, что он отведал в этнических гетто Джерси-Сити, не снилось никакому европейскому кулинару.

Это была параллельная вселенная. Переезд из одного квартала в другой был как перелет в другую страну, на другую планету, а через несколько улиц возникала еще одна пограничная полоса, и там уже жили иные народы – гетто за гетто, миля за милей, и в каждой такой городской державе – свои рестораны, своя экзотическая кухня. Он отведал *lechón asado* – молочного поросенка невероятной нежности – на улице кубинского гетто, где перед входом в каждый ресторан стоял, как будто вырезанный из рекламного картона, мужчина лет пятидесяти, с черным набриолиненным пробором и огромной сигарой в зубах. Не успеешь оглянуться, а тебя уже обслуживает перуанская женщина в цветастых накидках и плоской шляпе: она подавала нежнейшее севиче – сырую рыбу в маринаде из лайма; это блюдо запивали перуанским *Pisco* – с тем же соком лайма в виноградном бренди с яичным желтком. А каким португальским *трипашем* (то есть рагу из потрохов и свиных ушей) его накормили в квартале, где каждый дом отделан цветной керамической плиткой, как будто ты внутри изысканной ванной комнаты! А таких пороссячьих свиных копыт, как в корейской ресторации, он не ел даже в Сайгоне.

Казалось бы, тут царил настоящий хаос, но Альперт подозревал, что в этой анархии есть своя скрытая система и тайный порядок, чей смысл и законы недоступны его разумению, потому что эти законы ничем на первый взгляд не диктовались. Он не успевал записывать кулинарные рецепты и свои эмоции для будущего эссе и, возможно, книги об Америке. Такое было ощущение, что он наконец обрел родину. Не то чтобы он забыл про венесуэльского дикого вепря, но эта мечта почти затерялась в длинном пестром списке предстоящих ресторанных экспериментов.

4

Метрдотель и официант постоянно кружат вокруг нашего столика. Официант каким-то образом угадывает легкий наклон головы, движение губ или век Альперта и вырастает по левую руку от него в легком услужливом поклоне: «Sir?» Альперт делает незаметное движение пальцами, и по невидимому знаку метрдотеля официант тут же убирает нетронутое блюдо и сменяет приборы. Альперт лишь делает вид, что заинтересован в очередном блюде. Объясняет мне тонкости приготовления того или иного изыска. Но сам он лишь едва дотрагивается до еды и снова отодвигает тарелку в сторону. Так продолжалось довольно долго. Я вижу, как каменеет лицо метрдотеля. Непредсказуемость поведения Альперта его явно травмирует. «Непредсказуемость всех этих – как бы это сказать? – пертурбаций внушает ужас. Вроде ресторанного страха неопределенности: название блюда хорошо знакомо, но что тебе принесут на тарелке?» – наконец произносит Альперт. То есть, хочет сказать Альперт, жизнь порой напоминает плохой ресторан?

Даже в самых рискованных ситуациях своей жизни Альперт осознавал смысл и цель происходящего – как, скажем, в его авантюрном побеге на Запад. Но в Америке с ним произошло нечто непредсказуемое. И это выбило его из колеи, перевернуло его жизнь. Катастрофический инцидент – к нему-то, собственно, и подводил сегодня своими историями Альперт – случился в апогей его визита, после ланча в норвежском ресторане в уютном эксклюзивном и престижном (в недавнем прошлом трущобно-пролетарском) городке Гудзон на реке Гудзон, в штате Нью-Йорк. Давали коронное блюдо под названием Smalahove, то есть баранью голову. Он давно мечтал отведать этот шедевр народной норвежской кухни. Однако с утра он был несколько не в себе, неясно почему, скорее всего после целого дня, отмеченного у него в дневнике как *Russian stuff*. Он пытался уклониться от визита в этот российский кулинарный зверинец под названием Брайтон-Бич; и в русский ресторан «Самовар»; и в легендарную еврейскую столовку-дели «Катц».

Я помню свои собственные визиты в эти российско-еврейские вертепы Нью-Йорка семидесятых годов. Эти места особенно поражали жителя Лондона, потому что в Лондоне той эпохи даже свежий укроп можно было с трудом отыскать лишь в ливанской или греческой лавке, а настоящего черного хлеба ищи-свищи. В Нью-Йорке я еще застал и уличных торговцев на Hester Street (в кварталах Lower East Side) – этот кусок Манхэттена был до семидесятых годов еврейским гетто с хасидами в кафтанах и тулупах. Вдоль тротуара по всей улице до сквера с легендарным идишным рестораном стояли плечом к плечу здоровенные бородатые мужики-евреи в черных шляпах и ушанках. Перед каждым было по бочке. Там были соленые огурцы, помидоры и кислая капуста всех видов засолки. На машине времени ты попадал в мистическую Россию прошлых веков. Все это казалось сновиденческим бредом. Годами позже, на Брайтон-Бич, вдоль всей главной улицы развернулись гигантские гастрономы, где можно было найти все, о чем мечтал в голодные годы советский человек, мусоливший страницы с описанием застолья у русских классиков – от Гоголя до Чехова. Это была Россия, но смещенная во времени и в географии, и эта выдуманная страна была заселена загадочным людом. Таких и в России в наше время редко увидишь. Старые очкастые лысые евреи с умными глазами, большим животом и в шортах. Женщины с грустными надменными лицами – три подбородка, огромная грудь, тонкие ноги-спички. Но, взглядевшись в это безостановочно жующее население, всмотревшись в их лица, Альперт понял, что он от них ничем существенно не отличается. Он один из них.

Этот визит его травмировал. Именно там вроде бы его неутомимый, казалось бы, желудок впервые за неделю почувствовал себя не на месте, стал бунтовать, постоянно бурчать, ворчать и требовать дополнительного отпуска. Но дело было не только в желудке. Во время рейдов в

эти самые «русские» заведения его коллеги по ресторанной критике то и дело обращались к нему с настойчивыми расспросами об ингредиентах того или иного «еврейского» блюда. Все тут было в кавычках – и еда, и люди. В который раз Альперту приходилось объяснять, что бублики с семгой – это вовсе не еврейская, это исконно русская кухня, как и соленые огурцы; что водку с селедкой и картошкой завез в Россию Петр Великий из Голландии; и что даже рыба-фиш – из карпа-долгожителя – это в действительности украинское национальное блюдо. Завезли в Америку все это русское меню евреи, и теперь бублики не иначе как еврейским *бейгеле* американцы не называют. Альперта привели и в легендарную еврейскую столовку-деликатесную «Катц», где прапраправнук Катца (родом, естественно, из России) и его подручные раскидывали по мискам суп с клецками, *солтбиф* с кислой капустой и солеными огурцами, семгу с бейгеле-бубликами, сардельки с вареной картошкой. Здоровенные сардельки – мечта советского человека. Евреи остались в США, но сарделька вернулась на родину в СССР. Есть две страны на свете, где производят кошерные – из чистой говядины – сардельки и хот-доги: это США и СССР. Потому что хот-доги в виде сосисок воспроизвели в СССР американцы – это они построили мясокомбинат имени Микояна. Так объясняли ему его американские гиды, энтузиасты еврейской кухни и российского варварства. Застольные комментарии Альперта о происхождении блюд мало кто слушал. Однако все чаще, под водку, звучали в Нью-Йорке все более назойливые вопросы о его собственном происхождении, о еврейских родственниках, о России и его прошлом в России. «Вы, случайно, не еврей?» – спросил раздатчик *солтбифа* с соленым огурцом в столовке-деликатесной «Катц». Вопрос про отличие комсомола от бейсбола, о том, кто вы и откуда, многоуважаемый господин Виктор Альперт, опять замаячил в разговорах, как во время бесконечных допросов в американском секторе Берлина.

Альперт обычно рассказывает о своей жизни не без скрытой иронии, с напускной небрежностью, несколько принижая важность своих слов – как это было принято среди англичан довоенного поколения. Но я знал, что он мог впасть и в состояние необузданного вербального бешенства, как это произошло во время его бунтарского припадка в германском пансионе во время допросов церэушников. За полвека в Европе никто из его коллег по ресторанному бизнесу не спрашивал о его этническом происхождении. В ерундовых вопросах о его семейном прошлом он заподозрил намеки на то, что он, мол, иностранец, чужак. Этот визит в царство русско-еврейской кулинарии вернул его, как кошерную сардельку, обратно в Россию, в советское прошлое, но с абсурдистским сдвигом. Ему стало тоскливо и забурчало в желудке. А желудок у Альперта, должен сказать, луженый.

«Я помню, – говорит Альперт, – как я стоял у самого приboя на променаде Брайтон-Бич, там, где пресловутый бар под названием „Ресторан Москва“. Помните такое заведение?» Я помню этот припляжный сарай, где через окошко подавали рюмку водки с селедкой на черном хлебе, соленый огурчик, студень или плошку с пельменями и, главное, воблу, которая могла только сниться русскому человеку на Британских островах в состоянии тяжелого похмелья. Альперт продолжал: «И вот я стою с соленым огурцом в одной руке и рюмкой водки в другой и смотрю на Атлантический океан передо мной. И я понимаю, что на другом берегу этой гигантской серой лужи – Европа, то есть и Россия там. И я туда никогда не вернусь». Это было романтическое «не вернусь», ни к реальным планам, ни к надеждам на политические перемены никакого отношения не имеющее. Я знал, что Альперта за предательство родины заочно приговорили указом Президиума к высшей мере наказания – расстрелу. Но приговор давно отменен. Перестройка и так далее. Речь, как я понимаю, шла о невозможности вернуться в собственное прошлое. Я задал этот вопрос Альперту. «Я больше не люблю студень с хреном. Меня от него тошнит», – сказал Альперт. Но, парадоксально, хотя он и не мог вернуться в свое личное прошлое, прошлое его семьи – родовое и клановое – настигло его на другом берегу. Там, на берегу океана времени, физиономия кулинарного гуру, венесуэльца Донато, вновь неожиданно всплыла у Альперта в памяти. Антисоветские идеи давно потеряли для Альперта свою акту-

альность, но вкус и запах узбекских пельменей отчетливо всплывал в его памяти, как только он вспоминал «Узбекистан» и бывшего коммуниста Донато. Альперт выпил за него рюмку водки и закусил американским соленым огурцом с черным хлебом. Чего проще. Сам Донато, уверен, одобрил бы.

На следующий день в уютном городке Гудзон, оказавшись перед блюдом с бараньей головой в норвежском ресторане, он стал уничтожать эту монструозную экзотику поспешно и систематически, как будто заедая память о российской кулинарной депрессуре. Блюдо это было в действительности хорошо ему знакомо – он отпробовал баранью голову в свое время и в Малайзии, и во Франции (он был энтузиастом французской *андуйет* – сосиски из потрохов и требухи с острым запахом кишок и мочи). Альперт знал, как отделять ножом нежнейшее мясо бараньей щеки, как одним движением подцепить вилкой вареное глазное яблоко, эротически дрожащее во рту. Судя по всему, самым оригинальным аспектом этой версии бараньей головы был соус к блюду. Он же сыграл и ключевую роль в последующей экзистенциальной катастрофе. Неуловимый и одновременно ностальгически знакомый. По своей консистенции напоминал грузинскую аджику или израильский *зхук* по своей остроте, но гораздо нежней, со своеобразными кисло-острыми полутонами, идеально для бараньей головы. *Sea-buckthorn berries*, подсказал ему его ресторанный гид. Он записал название на бумажной салфетке: *sea-buckthorn*. Запивали черной норвежской водкой. А потом повезли осматривать природные красоты, леса и озера долины Гудзона и холмов Катскилл.

Открывающийся перед ними ландшафт был шедевром с туристской открытки. Было начало октября. Огромное и безоблачное голубое небо. И леса на холмах вокруг – американские клены и ясени, кедры и хикори, граб и тюльпатри с сикоморами, – это многолиственное роскошное покрывало возгоралось осенней багровостью и желтизной всех мыслимых полутонов, как печатные имбирные пряники. От этой прозрачной голубизны и осенней позолоты у Альперта кружилась голова. Этот фантазмагорический по красоте пейзаж и убедил, наверное, первых пилигримов и поселенцев в Америке, что они попали в рай. Когда королеве Виктории показали полотна американских художников-реалистов с ландшафтами осенних холмов Америки невероятной палитры огненных колеров, она не поверила: считала, что это изображена утопическая фантазия. Спускаясь по тропинке к небесно-голубому озеру в камышах вдоль берегов, как будто из сказочных иллюстраций к детским книжкам, Альперт почувствовал необъяснимое беспокойство. Его глаза наслаждались окружающим пейзажем, но его желудок сопротивлялся каждому его шагу. Он был в компании jovialных рестораторов, решивших прогуляться по холмистому лесу вокруг озера. Альперт сослался на возраст и отделился от компании – остался на берегу, якобы вздремнуть, отдохнуть после ланча в прибрежной беседке.

Состояние панической беспомощности усиливалось. Он присел на лавочку у стола для пикников под крышей беседки. Он надеялся, турбулентии в желудке улягутся сами по себе. Главное, как известно, не сосредотачиваться на своем внутреннем мире. Коршун медленно плавал в голубом небе, как будто купался в гигантском озере, а под ним, в настоящем озере, полоскались, как белье, своим отражением белые облака. Он стал листать брошюру об истории этого заповедника – лифлет, который выдается каждому визитеру при входе. На последних страницах – инструкции по парковке и неукоснительные правила поведения на территории заповедника. Радио слушать только с наушниками – чтобы не распугать животных и птиц; купаться в озере воспрещается – чтобы не распугать рыбу. И наконец, главный принцип: *carry in – carry out!* То есть что принес, то и уноси. «Следы от пребывания человека на территории заповедника должны быть минимальны», – говорилось в брошюре. Уходя из жизни, не оставляйте после себя следов. Не выносите сор из избы. *No trash receptacles are located at the site.* И действительно, ни одной мусорной урны. Весь мусор забирай с собой. И дальше, в инструкциях брошюры – владельцам собак: «*Dog owners must remove dog waste from the site.*» У него не было

с собой дога, чтобы подбирать за ним дерьмо. Он чувствовал, что незнакомый дог забрался к нему в желудок и ему в этой конуре крайне неуютно.

В этот момент в беседку за столик пристроилась с термосом и сэндвичами пожилая парочка с белой собачкой, породы вроде джек-рассела. Беспокойный песик, вертится, не сидит на месте. Он пытался спрыгнуть с колен своей хозяйки с длинными седыми волосами до плеч, в очках металлической оправы, под Джона Леннона, и в цветастой юбке, с ожерельями из каких-то деревяшек и камешков. Рядом с ней ее престарелый муж: в университетском твиде и вельветовых штанах, в сандалиях на босу ногу, с лысиной в ореоле седины и с нечесаной бородой – опять же из бывших хиппи антивьетнамской генерации. Обменялись мнениями о погоде, поспорили о породе уток у озера, и тут же – Альперта все-таки выдавал иностранный акцент, хотя с британским, а не американским уклоном – упоминание России. Пожилая парочка ожилилась: что он думает о Путине? Его ведь так любит русский народ. Что будет с Россией без Путина?

Этот вопрос был для Альперта полной неожиданностью. В руках он все еще вертел путеводитель по заповеднику с правилами-инструкциями. «Carry in – carry out», – процитировал Альперт вслух этот туристский лифлет. Однако парочка престарелых американских хиппи вряд ли уловила в этой цитате параллель между отношением к мусору в американском заповеднике и вкладом того или иного руководителя в историю России: пусть, мол, унесет с собой все, что нагадил, все свое дерьмо. Впрочем, американские собеседники Альперта явно кое-что почувствовали в тоне его голоса. Ветераны-пацифисты ошарашенно молчали, чувствуя, что задали бестактный вопрос. «Но вы не станете отрицать прогрессивную роль Ленина в истории России?» – спросил профессор-хиппи в сандалиях. Гнев народа зреет медленно, но обладает несокрушимой разрушительной силой. И Ленин сумел оседлать этот гнев и направить его в нужном направлении. В Америке уже на протяжении многих поколений тоже зреет массовое недовольство. «Мы ждем своего Ленина. Его нельзя остановить никаким маккартизмом», – сказал профессор. «Да-да», – подтвердила мнение супруга старушка с седыми патлами до плеч. Пес тоже согласно тявкнул. Желудок Альперта агрессивно зажурчал в ответ. У него в желудке медленно, но неостановимо зрело массовое недовольство непонятно чем. Путин обещал замочить своих врагов в сортире. Он вспомнил свой детский страх – он боялся упасть в дыру сортира в пионерском лагере – на него оттуда смотрел огромный черный глаз: там внизу, на дне этого одноглазого монстра, готового его проглотить, что-то шевелилось в ожидании – в ожидании его пионерского вклада в общее дело.

Он наконец заглянул в айфон, чтобы проверить, что за соус давали к бараньей голове. Sea-buckthorn. Облепиха. Ну конечно! Настоялку из облепихи домработница давала отцу от запора. Облепиха – слабительное! Альперт оглядел окрестность и убедился в том, что вокруг нет не только мусорной урны – нет ни единого туалета, ванной комнаты, уборной, сортира, нет ни очка, ни двух нулей. Он поднялся с лавочки, совершенно проигнорировав вопрос о прогрессивной роли Ленина в истории России. Вместо этого он сообщил ленинцам-хиппи, что должен взглянуть на упоительный ландшафт с видом на холмы Катскилл, открывающийся с поляны на пригорке в лесу (согласно лифлету для туристов). «See you later», – пробормотал он на ходу, отшвырнул лифлет, подхватил бутылку воды Evian и быстрым шагом свернул на первую попавшуюся ему на глаза тропинку через кусты боярышника вглубь лесной рощи.

И тут я снова громко расхохотался. Альперт описал эту гротескную сцену с такой неподражаемой комической серьезностью, что трудно было удержаться от улыбки, особенно мне, готовому смеяться любой шутке. Некоторые находят мой смех недоброжелательным. Говорят, что мой смех не соответствует доброжелательности моего взгляда, моих глаз. Действительно, смех иногда бывает крайне неприятным, даже оскорбительным. Особенно громкий хохот. Я тут же заметил бешенство в глазах одного из официантов, того, что главное, при метрдотеле. Он уже давно поглядывал на меня с явной враждебностью. Меня же в рассказе Альперта рассме-

шила не только абсурдность диалога в беседке у озера в американском заповеднике. Скорее тот факт, что на запутанных маршрутах жизни твое прошлое настигает тебя в самых непредсказуемых обстоятельствах. Вот только неясно, твое ли это прошлое, или тебе его приписывают, как бы присочиняют за тебя? Я заметил, что Альперт снова отряхивает невидимые крошки с пиджака. Мой смех он игнорировал.

Он был в ужасе, что не донесет. Интересное русское слово «доносить». Вроде «уходить». Как славно здравый смысл народа звучание слов переменял. Но Альперт донес. Добежал до ложбины, окруженной столетними дубами, елями и кедрами. Едва успел расстегнуть штаны и присел в зарослях орешника. Возможно, это был не орешник, а облепиха с красными, как у рябины, ягодами. Над головой перешептывались дубы, ели, кедры и американские сикоморы. Из темноты леса за ним следил лось. Среди птиц-доносчиков – спиза и жулан, в кустах шебуршился вальдшнеп. За Альпертом наблюдал и орел, купаясь в голубом небе. И в этой идиллии скрытности под наблюдением многоглазого леса было нечто ностальгическое, как в пионерлагере, когда облегался с утра во время походов под кустами бузины под надзором пионервожатой. Подтиралась лопухами. Но лопуховидная американская кустистая поросль и вьюны неизвестно чем грозят твоей коже, с ожогами хуже крапивы. Облепиха сделала свое дело – эвакуация желудка была полная и окончательная, подчистую, без остатка. Вышло все – от еврейских сарделек до корейских порослячьих копыт, от Москвы до Берлина, от Берлина до Лондона, от Лондона до Нью-Йорка и обратно – и советский тоталитаризм, и американский капитализм, не считая британского парламентаризма. И бараньи глаза. Альперт отличался маниакальной гигиеничностью. В кармане у него всегда была пара объемистых пачек британских бумажных платков Kleenex. Так что туалетной бумагой он был обеспечен. И двухлитровая пластиковая бутылка воды, вместо биде, чтобы аккуратно подмыться. Однако, взглянув на сотворенную им солидную кучу коричневой массы, укутанной смятыми бумажными платками, он был поражен масштабностью этого акта. Такое не унесешь в пластиковом пакете. Уже слышались голоса его американских знакомых, вернувшихся к беседке с прогулки вокруг озера. Они, наверное, удивляются, куда он запропастился. Альперт в панике огляделся: чтобы скрыть следы преступного акта, оставалось лишь спешно скрыть кучу под грудой осенних листьев и старых веток. Бутылки Evian хватило, чтобы раза три тщательно вымыть руки. Альперт вышел к коллегам в беседке посвежевший и бодрый.

Он чувствовал невероятное облегчение. Его довезли до отеля Algonquin, где он долго отлеживался в ванной, смывая память о позорном недоразумении в американском заповеднике. Он отправился спать довольно рано, еще не было и десяти вечера, но через пару часов проснулся. Скорей всего, его разбудили бурчащие, как больной желудок, трубы этого старого отеля. Это была целая авангардистская симфония двенадцатитонной музыки. Это был звуковой коктейль из Джона Кейджа и Шёнберга. Algonquin – это воплощение мифа о старом добром Нью-Йорке. Дубовые панели, белоснежные скатерти и крахмальные салфетки, серебро и тяжелые хрустальные стаканы для бурбона. Бармены и старшие официанты по возрасту не моложе семидесяти, тени не отбрасывают. Тут все происходит принципиально медленно и неправильно. Это апофеоз эксцентричности. И в этом шарм. Эти замедленные дергающиеся лифты, желтоватые плафоны в сумеречных коридорах. Мигающие выключатели настольной лампы с покосившимся абажуром. И эти самые водопроводные трубы. Чихающий кран в ванной. И батареи. Под утро они начинают откашливаться, как старый курильщик, издавать нутряной рокот и грохот. Видимо, где-то в недрах скапливались пузыри воздуха и лопались по дороге, как газы при расстройстве желудка. Эти звуки отзывались эхом в его пульсирующем мозгу, грохотом сердца в опустевшей груди. Комната становилась твоим телом, а тело распалось в отрывки мыслей. Когда в этой спонтанной какофонии возникала пауза, он начинал дремать и погружался в тот полусон, когда трудно сказать, вспомнилось ли нечто реальное и прокручивается в уме, или же все это тебе снится. Сосед по столику по имени Катц в сто-

ловке-дели спрашивал его, шепча на ухо: «Are you Jewish?» Проблема в том, что у раввина из Бруклина баранья голова. Альперту говорят, что он должен ее сварить в кастрюле и съесть. Но как отрезать баранью голову так, чтобы раввин остался жив? В этом заключалась неразрешимая дилемма. Бывает ли раввин без головы? Бывает. Но без бороды человек – не раввин. Самое вкусное – его глаза. И маринованная борода. Альперт понял, что он уже давно лежит с открытыми глазами, уставившись в потолок, где гуляют перистыми облаками отсветы города за полосками штор, как по голубому небу заповедника. Он понял, что не спит. Он не мог понять: гремят ли это водопроводные трубы, или пульсирует и гудит сигнализацией его растревоженный ум? Это был Арзамасский ужас тотального одиночества преступной души. Это был ужас грехопадения. Что же сделал я за пакость, я, убийца и злодей?

Казалось бы, ну наложил кучу в лесу под кустом, ну и что? Кто этого не делал – на полянке, под голубым небом, в роще или в открытом поле. Толстой разве этого не делал? Или Пушкин? Маркс и Энгельс? Ленин и Сталин? Гитлер? Шекспир, заведомо, и даже автор теории относительности Эйнштейн. Несомненно, Джавахарлал Неру тоже это делал – в Индии это делают все и где попало, а не только под кустом. Все это ерунда – круговращение элементов в природе. Дождь размочет, земля впитает, подземные жуки, черви и насекомые почву разрыхлят, и останется еще одно плодородное пятно на территории великой державы с орлом на государственном гербе. Все это так. Но дело ведь не в самой куче, дело в акте ее созидания. Он нес и нес, и донес ее не куда-нибудь, а именно туда, на заповедную территорию Соединенных Штатов Америки.

Конечно же, разведка разыщет его, осквернившего эту святыню американской природы, нарушителя всех правил и инструкций поведения в этом заповеднике. Альперт понимал, что за каждым его шагом – от берлинской подземки до отеля Algonquin – следил внимательный взгляд со стороны: от КГБ и ЦРУ до этой парочки престарелых хиппи, этих почитателей путинской судьбоносности в сандалиях и ковбойке, с седыми волосами до плеч, этой либеральной Америки, для которой «cleanliness is next to godliness». За ним могла наблюдать и местная полиция из вертолета. Они круглосуточно обзеревают заповедную местность. Его акт мог быть записан на дальнобойные камеры американских спутников, наблюдающих земной шар из космоса. Куча дерьма Виктора Альперта на карте нашей планеты. Кто мог совершить подобный чудовищный акт? Панк? Анархист? Диссидент? Или террорист? Ты сделал нечто непростительное, и уже ничего в твоей жизни изменить нельзя. Единственное внутреннее оправдание: таков был рок истории. Подобным историческим детерминизмом оправдывался любой акт террора.

Его введут в зал суда в наручниках, ноги в цепях. Он будет признан виновным. Нет, никакого тюремного срока не последует. Отделается штрафом. Он был в ужасе от иных предчувствий. Ночь прошла в ожидании утреннего выпуска газет с заголовками вроде: «*The world famous food and restaurant critic in shitty exposure!*» Он никогда не тревожился о собственной профессиональной репутации и не дорожил ею как таковой – деньги, славу и престиж он обрел случайно, из-за вечного аппетита к кулинарным курьезам, благодаря таланту различать нюансы вкусов и запахов. Вне зависимости от его личных амбиций, однако, эта репутация обеспечивала ему анонимность, которая, как идеально скроенный костюм от портного на Savile Row у человека-невидимки, защищала его от назойливых вопросов о его прошлом и его происхождении. И вдруг на этой безупречной репутации появилось пятно и разошелся шов. Во время расследования инцидента, в ходе судебного слушания, его личность снова начнут разбирать на части, как сломанную игрушку, добираясь до главной пружины, и потом, винтик за винтиком, извлекут на свет и будут проверять на фальшивость все составные части его семейного происхождения. У него снова, как в Германии, начнут допытываться: кто он – еврей-не-еврей, диссидент-конформист, беженец-перебежчик, романо-германист или гурмано-гедонист? Но он не знал, кто он. Он знал, что он по паспорту Виктор Альперт, но кто он – Виктор Альперт? В этой нью-йоркской постели лежал другой, еще неведомый изгнанник. Эта душа не имела никакого

отношения к истории своей телесной оболочки – прежнему Виктору Альперту. От этого Виктора Альперта в американском заповеднике осталась куча дерьма. И в ней заключалось все. Он высрал все свое советское прошлое, от университетского комсомола до свалки перемещенных лиц, как и полвека этнической экзотики своих ресторанных маршрутов. Он безответственно прикрыл багрянцем осенних листьев эту кучу своего невыносимого прошлого, исторгнутого на священную почву американской идиллии.

Никаких центральных разведывательных агентств не потребуется. Кучу дерьма, припорошенную листьями, может обнаружить любая собака. Да. Джек-рассел. Этот пес на коленях либеральной престарелой парочки в беседке. Они поведут его прогуляться. С ошейником на поводке, конечно же. От беседки ведут две тропинки. Одна вокруг озера, а другая в лес, где скрылся Альперт за кустами орешника и облепихи. Он представлял себе эту картинку: джек-рассел неожиданно натягивает поводок и рвется вперед, таща за собой старушку по тропинке в лесную чащу. Та кричит: stop! stop! Не трогай! Но уже поздно: джек-рассел разгребает своими цепкими лапами кучу осенних багряных листьев. И под ними... Лояльные американские граждане, они увидят в этой куче иностранного дерьма вопиющее надругательство над принципами защиты окружающей американской среды, природы и души. Что произойдет дальше? Вызывают администрацию парка. Администрация допрашивает пожилую пару: видели ли они кого-нибудь и что-нибудь подозрительное в окрестности за последние два часа? (Судя по свежести дерьма.) И те вспоминают британского туриста с русско-еврейским акцентом. Обращаются в полицию. Полиция – в иммиграционные власти. Впрочем, даже свидетельские показания дамы с собачкой тут не понадобятся. Полиция подцепит бумажную салфетку Kleenex британского происхождения и поймет, что это чудовищное преступление против заповедного гуманизма и просвещения совершил турист из Великобритании. ФБР обратится в ЦРУ, и через файлы паспортного контроля они смогут сверить отпечатки пальцев и сравнить их с теми, что остались на салфетках Альперта в лесу. А дальше, путем отсеивания, номер его паспорта с фото распространяется по всем известным отелям Манхэттена. И наутро стук в дверь его номера.

Наутро ему предстоял визит в Чайнатаун, в один из китайских шопов, где кожа гуся для готовки дим-сумов стоит больше, чем гусиное мясо. Альперт быстро отправил короткий месседж своему нью-йоркскому гиду-редактору: мол, неожиданные семейные обстоятельства вынуждают прервать американский визит. Еще до рассвета Альперт срочно выписался из отеля. Через час он был в аэропорту JFK. Он собирался улететь с первым же самолетом обратно в Лондон, но в последний момент до него дошло, что в Лондоне администрация заповедника и полиция разыщут его по домашнему адресу и профессиональным контактам. Надо бежать в какую-нибудь страну, где о тебе никто не слышал, где можно хотя бы на время скрыться без следа, суда и следствия. Южная Америка. Южная Америка не выдает своих преступников. Вспомним всех нацистов с паспортами Уругвая. И еще Перу. Или Колумбия.

И тут он вспомнил магическое слово: Венесуэла! И всплыли в памяти сияющие, как масляные, глаза Донато с его рассказами о Венесуэле и кулинарной мистике дикого вепря в экзотическом соусе. Он взял билет на первый же рейс в Каракас.

5

Когда причинно-следственная связь между событиями неочевидна, мы склонны полагать, что эта связь невидима, намеренно скрыта, ждет своего разоблачения, как в детективном романе. Абсурд – это не отсутствие видимых логических связей. Абсурд – это отсутствие логики как таковой.

Вряд ли Альперт связывал свое решение улететь в Каракас с судьбой абсурдиста Даниила Хармса. В Каракасе, как известно, после войны поселилась вдова Хармса, Марина Малич. Она попала в Венесуэлу, бежав, после ареста Хармса, сначала на Кавказ, оттуда была увезена *остарбайтером* в Германию и наконец через Францию пересекла Атлантику и добралась до берегов Южной Америки. Здесь, в Каракасе, она владела книжной лавкой эзотерической литературы, где ее разыскал истинный рыцарь архивного наследия Хармса, Михаил Мейлах. Он отсидел в лагере Пермь-36 за свои литературные дела, но советский коммунизм рухнул, и Мейлах, добившись заграничного паспорта, сумел на всех мыслимых перекладных и с бесконечными пересадками добраться по дешевке из дикой перестроенной России до мафиозно-нацистских джунглей реки Ориноко. Он приехал в Каракас, чтобы получить от Марины Малич права на издание полного собрания сочинений Хармса в России. Представьте, он разыскал книжную лавку эзотерической литературы, позвонил в дверной звонок, был любезно встречен, приглашен на чашку чая только для того, чтобы узнать, что до него здесь уже был некий проныра, который выудил у вдовы классика абсурда все издательские права. Этим «пронирой» оказался Владимир Глоцер, считавшийся в кругу Мейлаха шарлатаном от литературоведения и самозванцем в истории архива обэриутов. Глоцер был по профессии юристом, то есть, формально говоря, пособником судебной системы, засадившей Мейлаха в тюрьму. Кроме всего прочего, Глоцер был, в отличие от Хармса и Мейлаха, москвичом. Мейлах, однако, обаял Марину Малич, развеял репутацию Глоцера в ее глазах. Было выпито много чая и пролито литературных слез, и Мейлах получил от вдовы Хармса декларацию передачи издательских прав ему, Михаилу Мейлаху, а вовсе не Глоцеру. А ей, Марине, что с этого? Да и какие издательские права? К тому моменту миновало не меньше полувека, и поэтому все права на переиздание истекли – издавай кто хочет. Хоть Глоцер, хоть Мейлах, хоть Розенкранц, хоть Гильденстерн, хоть Том Стоппард. Короче, визиты Глоцера и Мейлаха к вдове Хармса сами напоминали абсурдистскую пьесу Хармса. «Проныра» Глоцер был расторопнее и тут же сварганил из своих разговоров с вдовой Хармса книжку от ее имени под названием «Мой муж Даниил Хармс» и рядом с фамилией вдовы поставил на обложке и свою фамилию, как будто (как сострил Мейлах) «сам Глоцер тоже был женой Хармса».

В любых других обстоятельствах Альперт получил бы несомненное удовольствие от этой истории абсурдных литературных интриг в России. Но сейчас он смотрел на меня невидящим взглядом своих доверчивых серых глаз, в которых не читалось ничего кроме паники. Я же, в свою очередь, понял, что эта анекдотическая история о литературной дуэли вокруг издательских прав на чужую жизнь всплыла у меня в памяти не столько из-за упоминания Альпертом города Каракаса, а потому, что я сам в свое время прошляпил авторские права на монографию о моем старшем друге. Я, как я уже упоминал, интуитивно догадывался, что в драме жизни Альперта скрыт роман. Я не профессиональный биограф. Есть авторы, способные сочинять прочувствованные некрологи даже о живых людях. Я лишь обыгрывал в уме идею книги об Альперте. То есть мы собирались писать книгу вместе: его английский, в отличие от моего, совершенно безупречен. Но зато у меня несомненный талант, когда речь идет о драматизации ситуаций, сюжетных поворотах и столкновении характеров, общей композиции и выборе ключевых моментов, скрытом символизме повествования. Я, однако, в тот период увлекался своими романами иной природы, не литературной и не виртуальной. Между тем бойкий журна-

лист из иллюстрированного приложения к воскресной газете Observer накатал очерк (profile) о нем на десяток страниц. Не был ли этот журналист тем самым ангелом, кулинаром-коммунистом, что спас Альперта из германского лагеря перемещенных лиц и перевез его в Англию? Трудно было бы назвать его выскочкой. Он, можно сказать, и создал Виктора Альперта, каким он известен сейчас Лондону. Но газетный разворот об Альперте был халтурой и бурдой британской закваски – о диссиденте, обысках, зловещих агентах-гэбистах, о восторженной встрече узника совести с западной свободой. Были перепутаны политические вехи, кардинальные идеи эпохи и пограничные пункты, а главное – не осталось и следа от ощущения загадочной фатальности в судьбе Альперта. Сама тема, однако, была убита этой публикацией. Произошла, как бы это сказать, дефлорация сюжета. А жаль.

Как бы то ни было, Альперт явно пытался вслушаться в мою занимательную историю о литературоведческой дуэли в Каракасе, но по его рассеянному взгляду я понял, что он не очень вникает в суть этого абсурдистского анекдота о московских литературных интригах. Он летел в Каракас с совершенно иными чувствами. Альперт был движим одной целью: добраться до родных пенатов Донато – мифической венесуэльской деревни под названием Куки (Cucui – то ли от слова «лягушка», то ли «кактус»). Он, однако, еще не осознавал, что столица Венесуэлы абсурдным образом возвращает и его в Москву. Ведь именно из Каракаса улетел в Москву его венесуэльский Донато. Получалось, что Альперт повторял маршрут-сюжет жизни Донато *in reverse* – обратным ходом. Он летел из конца в начало. Но чужое начало может стать твоим концом.

Ужас, который охватил его ночью в нью-йоркском отеле, расплылся и исчез в облаках за окном иллюминатора в самолете. Он летел к намеченной цели, еще неясно какой, но в самой этой целенаправленности было нечто вдохновляющее. Он дрожал, но это была не дрожь страха перед постыдным разоблачением, как предыдущей ночью в отеле, а дрожь возбуждения перед кардинальной переменой его жизни, на решительном развороте судьбоносного маршрута. До этого он блуждал впотымах по лабиринту улиц большого города жизни, в темных переулках своего сознания, шаркал по асфальту в стоптанных туфлях своей судьбы, толкался между ресторанными столиками человеческих отношений. Сейчас он ощущал себя как святой Павел на пути в Дамаск. Его прошлое представилось ему как запутанный, но неумолимый маршрут к новой свободе в новой географии. В Каракасе он начнет новую жизнь. От душевного состояния позорного раскаяния не осталось ни следа. Там, в райской ложбине американского заповедника, под ветвями кедров и сикомор не только он эвакуировал свой желудок, освободив его от российских кулинарных кошмаров, но и поставил окончательную точку в хронике бесконечных перекрестных допросов о его паспортной личности в общей лагерной свалке перемещенных лиц. Они хотели вывернуть его внутренности наизнанку – пожалуйста: вот мое дерьмо, смотрите!

Я гляжу в ресторанное окно. Напротив, за столиками на тротуаре, все те же, но в несколько ином ракурсе. Появляется официант с огромным дымящимся блюдом. Он ставит его на столик между бородачом с сигарой и шефом с бабочкой. Они выпивают, и бородач подцепляет закуску пальцами из блюда, явно на пробу. Они начинают о чем-то спорить. Бородач затягивается сигарой и затем втыкает сигару в центр блюда. Шеф с бабочкой вскакивает и хватается бородача за лацканы пиджака. Столик качается, и блюдо летит на асфальт. Появляется официант со шваброй и ведром, чтобы убрать разбитое блюдо, огибая бородача и шефа для безопасности кругами, как хорошо охраняемую границу. На углу я замечаю фигуру полицейского.

В аэропорту Каракаса, пройдя паспортный контроль, Альперт сразу направился в зал внутренних авиалиний и через пару часов приземлился в Сан-Кристабель. В одном из туристских агентств этого провинциального аэропорта он взял напрокат джип с гидом-водителем. Но водитель появился не один. Их было двое, оба с автоматами, патронташем и револьверами за

поясом. Как будто они снова пересекали советскую зону в Берлине. Но это был не Берлин и не Москва. Это была страна Донато, где в наши дни без личной охраны не путешествуют. И он смотрел глазами Донато из окна джипа на крытые грузовики с солдатами, на заброшенные фабрики и пустынные деревни. Попадались блошинные рынки и барахолки, случались гигантские заторы в трафике, шоссейки с колдобинами и небоскребами на горизонте, обшарпанные фасады зданий с колоннадой и оружие толпы манифестантов с плакатами. Наконец они выбрались из городской толкучки. Мимо проплывали прерии и горы, заслоненные крупноблочным строительством, водопады с озерами, где плавали пластиковые пакеты. Он воображал себе джунгли и крокодилов, сомбреро и мустангов, кастаньеты и бой быков из рассказов Донато, но в глаза шибало размахом социалистического строительства и нищетой. Джип с личной охраной пересекал страну перманентной диктатуры, зоологического капитализма, декаданса и народно-освободительного движения – какие еще идеологические клише наворачивались у Донато перед глазами?

Это был мир Донато. Он был там, откуда Донато отбыл и о чем всю жизнь потом рассказывал. То, что казалось коротким эпизодом в юности Альперта – с пьянками в «Узбекистане», с легендами о заграничной жизни в устах Донато, с поисками костюма иностранного покроя, – все это сейчас казалось ключевым и судьбоносным. Он до этого никогда не думал, где, как и чем жил Донато, куда он шел, когда кончалась его рабочая смена в ресторане. Донато всегда возникал в памяти в его ресторанной ипостаси, в нише с портьерой, где дверь в кухню, в белом пиджаке с бабочкой и подносом наготове. Лишь однажды Альперт случайно столкнулся с Донато вне ресторана, на автобусной остановке. Альперт поразился его виду – в драповом зимнем пальто и дешевой ушанке. Он ехал в свои Новые Черемушки с авоськами в обеих руках. «Там ничего нет, ничего», – сказал Донато, и в глазах его была тоска. Сейчас Альперт попытался представить себе, как Донато, уже под утро после ресторанной смены, идет домой по заиндевевшей от мороза белой пустыне к своему белому крупноблочному призраку дома. Пейзаж вокруг этим воспоминаниям не соответствовал.

Родной поселок Донато с баром-рестораном Simon Bolivar находился в паре километров от местечка Ciquí в сторону границы с Колумбией. Там, на косогоре, в туристском центре – голубые плитки плоского бассейна с пластиковыми горками детской площадки – им указали на каменистую дорогу, которая вела к отелю-ресторану. Это было похоже на отрывочный предутренний сон: тебе снится какая-то чушь и одновременно ты осознаешь, что это сон, потому что параллельно ты ощущаешь еще и реальность твоей ежедневной жизни в этом предутреннем полусне. Перед глазами Альперта предстала некая смесь того, что он воображал себе, когда вспоминал рассказы Донато; эта идиллическая картинка с голубизной вечеряющего неба и розовой оторочкой заката – как рыночный гобелен – накладывалась на суровую реальность нищей венесуэльской глубинки. Внизу, под косогором, видна была пыльная площадь перед одноэтажным строением с вывеской отеля «Симон Боливар». Напротив располагалось заколоченное здание с осыпающейся штукатуркой – явно бывшей испанской колониальной миссии с полукругом обветшалых галерей и башней колокольни. По соседству примостилось бетонное здание, на вид заводское, явно заброшенное, с деревянной башней, похожей на недостроенную нефтяную вышку. В центре площади, ближе к ресторану с верандой, толпилась группа бородатых мужчин с ножами в руках. Они сгрудились вокруг ресторанного мангала.

Альперт подошел ближе. На вертеле медленно вращалась туша дикого вепря. Альперт знал, что это дикий вепрь из венесуэльского мифа Донато, потому что даже на расстоянии сотни метров уже дурманил голову магический гипнотизирующий аромат этого уникального блюда. Слюна подступила к горлу в предвкушении момента, когда твои зубы вонзятся в эту тающую мясистую прелесть мифического венесуэльского зверя. Сновиденческими показались Альперту и загадочные жесты мужчин в сомбреро вокруг мангала. Это были явно местные, небритые мужики, они отрезали острыми тесаками по куску дикого вепря на вертеле и макали

его в гигантскую миску, размером с большой таз рядом, переполненный чем-то бурлящим. Жар от углей и неуловимый манящий острый аромат вокруг мангала как будто окружал мистическим облаком участников этого священного ритуала. Этот ритуал включал в себя загадочные жесты: периодически едоки веоря похлопывали себя по щекам, вокруг рта, у подбородка. Альперт приблизился, раскланялся и произнес полагающиеся любезности по-испански. Ему вручили здоровенную вилку с нежнейшим куском мяса – дрожащая на вилке розовая плоть сама просилась в рот. Дисциплинированный гурман Альперт, следуя ритуалу, готов был окунуть дышащую жаром вырезку в легендарный соус, которому пел гимны Донато в далекой коммунистической Москве. Он заглянул в таз с магической бурлящей смесью. Но бурлил там не соус. Это была бурно шевелящаяся плотная масса снующих в тазу, танцующих друг на друге, сцепленных друг с другом роя насекомых. Это было бурлением гигантской кучи огромных муравьев. В этот таз, подцепляя муравьев, обмакивали куски мяса священнодействующие едоки дикого веоря перед тем, как отправить кусок животрепещущей плоти в рот. Вместе с муравьями в качестве изысканной приправы. Это и был магический деликатес из легенд Донато. «*Normiga culona!*» – тыкали они пальцем в таз, называя природу шевелящейся в тазу массы. «Ормига кулона» – «большезадые муравьи». Кусок дикого веоря вывалился у Альперта из разинутого рта.

Альперт много чего видел в жизни. И не чуждался ничего. Избегал, разве что, черной икры. Дело в том, что он переел черной икры в детстве. Во Вторую мировую, в эвакуации за Уралом, его родители жили впроголодь. Люди мерли как мухи. Ребенок был на грани истощения. Но их разыскал влиятельный дядюшка, полковник, военный инженер. Он появился в дверях барака, где Альперт бедствовал с родителями. Следом за полковником двое солдат внесли в комнату гроб. Гроб открыли – там лежал гигантский осетр, полный икры. Этой икрой и откармливали маленького Альперта. С тех пор Альперт недолюбливал черную икру. Не отвергал, но предпочитал другие кулинарные изыски – самые невообразимые. На ночных рынках в Бангкоке продавец жарил для него личинки тутовых шелкопрядов, саранчу и гусениц, пробовал он и жареного скорпиона в Индонезии. Но никогда не видел, как едят нечто шевелящееся или пульсирующее, как, скажем, мозг живой обезьяны – китайский деликатес. Здесь, в этой венесуэльской ресторации, когда незадачливый муравей выползал изо рта, его загоняли обратно хлопком ладони. Вот что означали эти магические шлепки ладонью по лицу. Иногда муравья пришибали прямо у подбородка, оставляя розоватое пятно на небритой коже вместе с ошметками насекомого. И тут кулинарный космополит Альперт не сдюжил.

Альперта стало тошнить. В сортир рядом с бетонной стройкой нужно было взбираться по хлипкой шаткой лестнице. Он еле успел закрыть дверь на щеколду. Его выворачивало наизнанку. Наконец, внутренне опустошенный, он спустил воду и попытался открыть дверь. Дверь не открывалась: щеколда застопорилась намертво. В этот момент унитаз стал переполняться. Все, что было внутри, шло наружу – обратно. И не только содержание лично его, Альперта, желудка. Альперт вскарабкался на унитаз и, балансируя, высунулся из окошка, вроде форточки, чтобы позвать на помощь. Но окно выходило не на площадь, где творился геноцид толстозадых муравьев, а на зады местной фабрики. Как только он залез на стульчак, равновесие сортирной конструкции, видимо, нарушилось: вся будка стала раскачиваться. Что-то треснуло. Пол перекосялся. Он высунулся из окна, оглядел окрестность и понял, что хлипкая сортирная постройка нависает над местной одноколейкой. И тут он услышал гудок паровоза. И стук колес. Приближался поезд. Постой, паровоз. Не стучите, колеса. Водитель, нажми на тормоза. Альперту представилось, как сортирная кабинка рухнет и он, вместе с унитазом и его содержимым, летит вниз, распластавшись, как подбитая птица, прямо под колеса поезда, покрытый дерьмом. Такое могло присниться только Фрейд.

На убыстренной скорости перед его затуманенным взором прокрутилось виртуальное видео его жизни. Его детство избалованного мальчика, хрущевская оттепель и ресторанные

похождения, поезд берлинской подземки и лагерь для перемещенных лиц, годы бродяжничества по европейским столицам, небоскребы Америки. И под отчаянный скрип стропил сортирной будки Альперт задался крамольным для себя вопросом: «А стоило ли так рваться на свободу?» Неужели вся его жизнь, все нечеловеческие усилия пробиться на Запад – все это сводилось к тому, чтобы наложить кучу дерьма на полянке одного из самых прекрасных заповедников штата Нью-Йорк и потом выпасть из южноамериканского сортира под колеса одноколейки? Но мы задаем существенные вопросы лишь тогда, когда уже нет времени выслушать подробный ответ. Он слышал лишь колотьбу в висках и надвигающийся стук колес поезда. И больше ничего. И никого. Никого? Если бы он не был атеистом и воинствующим антиклерикалом, он вспомнил бы о Боге и потребовал бы ответа.

Считайте это случайным совпадением или Божественным провидением, но в этот роковой момент из-за перекошенности всей сортирной постройки щеколда приподнялась и дверь кабинки в последний момент распахнулась сама. Он выполз оттуда, как толстозадый муравей из осыпающейся щели в земле. Ормига кулона. Муравьиная куча потревожена, и каждый муравей бежит в своем направлении со своим личным заданием. Если только его не загонят в рот и не раздавят чьи-то зубы. Или колеса поезда. За спиной у него рушились миры и унитазы под паровозный гудок. Мужики перед вертелом продолжали как ни в чем не бывало уплетать вепря, загоняя муравьев себе в рот.

Джип с охраной поджидал его на косогоре. Он ехал обратно в аэропорт, уже не разглядывая окружающий ландшафт. Он так и не опробовал магического соуса. И никогда не попробует. Истинный ресторанный критик готов опробовать любое блюдо. А он струсил. Он не способен был преодолеть себя и профессионально засунуть в рот живого муравья. Он способен пережевывать лишь мертвую плоть. Это был не просто профессиональный провал. Это было личное фиаско, капут. Он задремал, и ему мерещилось, что это Россия загоняла его обратно себе в пасть тоталитаризма и автократии. Он вернулся в Лондон живым трупом.

Эта гротескная гипербола России и Альперта-муравья меня развеселила. Я снова издал свой иронический смешок, и снова явно неуместно, судя по мрачному выражению лиц метрдотеля и главного официанта. А может, они вообще тут мрачные типы? Чем смешней и абсурдней развивалась история, тем мрачней становилось и лицо самого Альперта. При этом, как это свойственно людям высшего класса и воспитания, он говорил не снижая тона, не смущаясь взглядов со стороны, все громче и громче. Громко и по-русски. Я же чувствовал на себе взгляд официанта: он закусил губу и смотрел на меня с ненавистью – или мне так казалось.

Нет, он смотрит не на меня и не на Альперта, а сквозь меня: его лицо обращено в сторону витрины, туда, где на другой стороне улицы, за столиком на тротуаре события развиваются довольно драматично. Бородач в хламиде и шеф в бабочке сцепились друг с другом. Стаканы и тарелки летят со столика и разбиваются со звоном об асфальт. Это настоящая драка. Я вижу, как от угла Soho Square к месту действия движутся двое полицейских. Официант бара бросается к дерущимся, оттаскивает шефа в бабочке и указывает на полицейских. Полицейские берут под руки бородача, но шеф и официант начинают его отодвигать и загораживать собой. Бородач пятится, потом разворачивается и начинает удаляться, покидая место действия. Он идет покачиваясь, не спеша, он явно нетрезв. Он пересекает улицу и на мгновение исчезает из поля зрения, как будто в облаке дыма собственной сигары.

На нас переводят взгляд и официант, и метрдотель, пытаюсь расшифровать, как пара натренированных псов, малейшие нюансы в жестах Альперта. Я вижу, как бледное лицо Альперта сникает и тяжелеет. Наступает очередь десерта, но мы не заказываем даже эспрессо, и персонал ресторана явно в замешательстве. Альперт лишь снова отряхивает невидимых муравьев с рукава. Теперь я понимаю смысл этого жеста. Путешествий больше не будет, как и новых блюд. Он говорит, что его в эти дни мучает хроническая бессонница. Он засыпает иногда лишь под утро, и его мучает один и тот же кошмар:

«Я в ресторане. Передо мной ставят тарелку с новым блюдом. А я вижу на этой тарелке кучу дерьма. Разного цвета и конфигурации. То, что получается наутро, так сказать, из этого блюда. Экскременты разных особей животного мира, наций и народов».

«Это к деньгам», – говорю я, усмехнувшись, и смолкаю. Альперт смотрит на мое ошарашенное лицо и следит за моим взглядом.

Бородач в пестрой хламиде снова возник в окне, но уже в совершенно ином ракурсе. Это пугающее зрелище. Он, видимо, забрался на приступку витрины нашего ресторана, потому что казалось, что он парит в воздухе. Он прижался к стеклу бородой, расплющив нос, и таращится на нас – заглядывает вовнутрь, как будто мы редкие рыбы в аквариуме. Он опирается о стекло, распластав руки, в безмолвной позе распятия. Он напоминает огромное насекомое, распластанное под линзой микроскопа. Было в нем нечто от гигантского муравья? Это жуткое явление длилось несколько секунд: гигантское бородатое насекомое сползло по стеклу вниз, на тротуар и исчезло из виду.

Я повернулся к Альперту, но стул передо мной пуст. Альперт исчез. Возможно, приступы тошноты после венесуэльского инцидента стали у него хроническими? Он, видимо, направился в ресторанный туалет? Официанты стоят поодаль с непроницаемыми лицами. Я прождал еще минут десять позвонил на мобильный номер Альперта. Он не отвечает на звонки. Я стал разглядывать от нечего делать меню. Видимо, подсознательно выискивал там блюдо из мяса дикого вепря с соусом *ормига кулона*. Смешно было бы. Наконец, еще минут через десять, мой мобильник звякнул месседжем. От Альперта: «Голубчик, простите старика, мои бедные мозги не выдерживают напряжения. Я на приеме у своего лечащего врача на Харли-стрит. Ложусь на долгий срок в швейцарскую клинику. Буду под наблюдением видного психиатра. Собираюсь снова взяться за филологию. Буду писать историю советской литературы абсурда. Боюсь, мы не скоро увидимся. Ваш В.А.».

На этом отчет об эпохальной встрече с Альпертом я бы считал законченным, если бы не еще один инцидент в общении с нашими наблюдателями – официантами. Распрощавшись месседжами по мобильнику с Альпертом, я попросил счет. Мне было сказано, что все заранее оплачено Альпертом. Но как Альперт умудрился совершенно невидимым образом пройти незамеченным к выходу из ресторана? «В этом ресторане два выхода», – кратко проинформировал меня метрдотель и с преувеличенно вежливым поклоном демонстративно повернулся ко мне спиной. До главного выхода меня провожал не он, а молодой и неулыбчивый главный официант. Там в небольшом коридорчике за бамбуковой шторой, уже перед дверью, он похлопал меня фамильярно – из-за спины – по плечу. Я вздрогнул.

«What's the fuck, what did you do to the grand man?» – его голос звучал почти шепотом, но в его глазах читалось скрытое бешенство. Я не понял вопроса: «Что я сделал с великим человеком?» Я? Ничего! Я вообще практически молчал. Я его слушал. Альперт подробно излагал интригующие эпизоды своей жизни (некоторые из этих историй я слышал не впервые), а я внимательно слушал. Вот и все. (У меня хватило ума не упоминать идею возможной биографии Альперта – я лишь фиксировал в памяти новые подробности.) «Listen? You – you?» – повторил за мной официант (английское *you* бывает по грубости хуже базарного российского тыканья). С его точки зрения (точки зрения наблюдателя), я не слушал, а все время перебивал Альперта своими неуместными комментариями и анекдотами из собственной жизни, снижал пафос трагических аспектов его автобиографического нарратива ироническими ремарками (официант так и сказал: *tragic aspects of his autobiographical narrative*), смеялся собственным шуткам и навязывал Альперту интерпретацию его экзистенциального отчаяния (*existential angst*, сказал официант) как иллюстрацию своих собственных эмигрантских комплексов. Короче говоря, я эксплуатировал трагическую исповедь Альперта в своих эгоистических целях, выуживал из него забавные анекдоты для развлечения литературного плебса Лондона, Москвы и Нью-

Йорка. Под моим циничным взглядом эпическая одиссея Виктора Альперта превратилась в изжеванные обрывки газетного комикса.

«Я много раз наблюдал мистера Альперта в других ресторанах, – сказал официант. – Стиль его рассказа меняется в зависимости от глаз слушателя. Вы душили его вдохновение своим ироническим цинизмом, иссушающим душу морализаторством и глуповатой смешливостью. Вы ведь явно не читали его блестящих ресторанных эссе? Его раблезианское упоение жизнью, его амбивалентный юмор и любовь к гротеску, его остроумная афористичность и вербальная карнавальность обернулись в вашем присутствии мрачным макабром».

Я совершенно опешил – если не сказать: обалдел. Я давно не слышал такой апологетики от литературного фана. Откуда у официанта такой слог? *Rabelaisian indulgence in life?* *Ambivalent humour?* Иностранцы нередко склонны изъясняться высокопарным изошренным стилем. Однако этот официант ориентальной внешности перекрыл все рекорды. Он звучал как лектор-постмодернист по классу литературной композиции. Я сказал, что мне понравилась его идея зависимости стиля рассказчика от взгляда слушателя.

«Вы должны поступить на курсы сценаристов где-нибудь в Лондоне», – заметил я, не без язвительности.

«Я уже учусь, – ответил официант несколько раздраженно, но не без скрытой гордости. – Школа драматургов и сценаристов в Голдсмит-колледж». *Goldsmith College, the best.* Но где ему заработать деньги на оплату следующего семестра? Мытьем посуды в забегаловках? Он делал ставку на работу в этом ресторане: метрдотелем здесь – его родственник. Но ресторан явно прогорает. Катастрофический визит Виктора Альперта был фатальным. Понимаю ли я, что это значит: когда Виктор Альперт, бог ресторанной критики, заказывает в ресторане самые дорогие фирменные блюда, но ни к одному из них практически не притрагивается? Значит, он занес этот ресторан в черный список. Это значит, никакой заметки об этом новом ресторане не появится ни в одной газете, ресторан не будет упомянут ни в одном туристском буклете по Лондону. Это значит: ресторан прогорит через полгода. Банкротство. И ему, официанту, и его родственникам-компаньонам придется сворачивать бизнес и поворачивать оглобли. Обратно в Венесуэлу. Прощай, Голдсмит-колледж, – прощай, Лондон! Прощайте! Гудбай. Чао. Адиос. И официант распахнул передо мной дверь, чуть ли не выталкивая меня на улицу.

В дверном проеме мы увидели бородача в его перстрой хламиде. Он стоял, покачиваясь и пританцовывая посреди улицы, дирижируя сигарой движение машин, осторожно его объезжающих.

«Кто это?» – спросил я официанта. Но официант уже захлопнул дверь. За него мне ответил полицейский, стоявший от нас в двух шагах. Он спокойно наблюдал на расстоянии за танцевальными пируэтами бородача с сигарой посреди улицы. «Иммигрант из Венесуэлы, бывший ресторанный шеф. И бывший коммунист, – сказал полицейский. – В Южной Америке они все или бывшие коммунисты, или бывшие фашисты, сэр. И все шефы», – добавил он. Полицейский оказался разговорчивым, несмотря на заурядно формальное обращение «сэр» через каждую пару фраз. Впрочем, в Сохо все разговорчивые, даже полицейские. Знают, кто есть кто и подноготную всех владельцев баров и ресторанов. Из болтовни этого лондонского бобби я понял, что у бородачатого кулинарного коммуниста из Венесуэлы много лет была репутация своего рода ресторанным гуру, великого консультанта, дегустатора блюд. Он объездил полмира – от Нью-Йорка до Москвы. Еще не так давно, как только в Лондоне открывали ресторан южноамериканской кухни, первым делом звали его: как раввина для сертификата кошерности. С годами он спился, потерял работу. «Репутация скандалиста и дебошира, сэр». Но здесь к нему все относятся как к легенде. Реликвия Сохо. «Часам к пяти эта реликвия будет валяться на углу, сэр, – сказал полицейский. – Мы его подберем и отвезем по обычному адресу – в ночлежку рядом с рынком в Камдене».

Я стал пересекать улицу, чтобы задать этому пьяному венесуэльскому гению кулинарии пару вопросов о Москве и муравьином соусе к мясу дикого вепря.

2021

Mea culpa

Солнце в африканской оконечности ближневосточного побережья Средиземноморья сжигает на своем пути к закатному Западу все, включая расстояния между предметами. Из-за ровности этого небесного свечения, не знающего дальних и ближних планов, белые коробки отелей кажутся облаками, не существующими тут, впрочем, в это время года, а выбеленные известкой лачуги аборигенов путаются с мелкой грязноватой пеной прибоя. От предметов и людей остаются контуры, они становятся похожими на плоские аппликации; так орнамент на хиросимском халате проявлялся на коже радиоактивным свечением. Пальма накладывается на море, апельсин – на голую грудь, горизонт сливается с пляжным зонтиком. Весь мир глядится как плоская проекция, диапозитив с мощной слепящей лампой за стеклышком. Отсутствие глубины и дистанции сдвигает разбросанных по пляжу нудистов в одну кучу тел, как будто переплетенных в оргиастическом объятии. Разыгрывая скромного человека, ретируешься под навес, но и оставаясь в тени, все равно превращаешься в темную личность. Это не значит, что, вылезая на солнце, белеешь. Нет, ты становишься красным. Но не от стыда. Такова моральная диалектика пляжного времяпрепровождения. Это Восток: тут торжествует коллективизм, а твой западнический индивидуализм утончается до обратного самолетного билета в Лондон. Но и билет не на тебе, а в камере хранения: брюки (цивилизация) и твоё тело (природа) уже не единое целое.

Эта пейзажная плоскость и путаница планов переносится и на твоё представление о прошлом, настоящем и будущем. Счастливы люди пустыни, люди Востока, потому что из-за одинаковости горизонтов расстояние отмеряется временем, а время – сменой колеров горизонта. При таком солнце все существование сливается в одно длинное и долгое мгновение. В подобной растянутости и неподвижности настоящего – величайший оптимизм Востока, которому чужды и западная ностальгия по уходящей эпохе, и западное отчаяние, вызванное постоянным уходом, сменой географии, метаморфозами ближнего в дальнее и наоборот – короче, постоянным ощущением потери. Но верно и обратное: человек, живущий в героической экзальтации по поводу пережитого времени и преодоленного расстояния, не может смириться с внеисторичностью пляжного времяпрепровождения на Востоке, где все голы перед временем, как нудист под пляжным солнцем, где медали твоего героического прошлого отданы в камеру хранения, а ключи выброшены в море песка.

Вдоволь насытившись этим солнечным безвременьем, я шел с пляжа на площадь, где вокруг одной забетонированной плешки в тесном нагромождении сосуществовали ресторанчики и сувенирные лавчонки, продавцы мороженого и фалафеля перекрикивали гортанный надрыв местных поп-звезд из магазинчиков пластинок и магнитофонных кассет. Отсутствие ощутимой смены времен и перемен в пространстве подменяется у здешних жителей созданием искусственного шума и фиктивных перемещений. В суетливом циркулировании владельцев ресторанчиков вокруг собственных пустующих столиков от бара к дверям и обратно, с целью зазывания посетителей, чуть ли не хватая ротозеев за рукав, и было, пожалуй, единственное сходство между приезжими курортниками и аборигенами: впрочем, и эта близость – фиктивная: владельцы заведений, при всей своей жажде наживы, не столько суетились, сколько оттапцывали свой долг – ритуальную пляску по зазыванию клиента, вне зависимости от того, есть ли он, этот клиент, или его нет; концерт, так сказать, продолжался вне зависимости от наличия зрителей. Туристы же толпились на площади, шарахаясь испуганно при любых попытках заманить их в то или иное заведение; им казалось, что у ритуального танца аборигенов на площади своя тайная цель: их погубить, обчистить как липку и, возможно, смертельно отравить.

Я, иронически улыбаясь, наблюдал как спектакль эту курортную суматоху, сидя в тот день в своем любимом арабском заведении в углу площади. Место это на вид неприглядное, с

пластмассовыми столиками, и даже бумажную салфетку – и ту надо специально выпрашивать. Но зато араб этот подавал исключительный хумус с тхиной, а такого кофе не получишь даже в Восточном Иерусалиме. Неприглядность этого заведения, с несколькими столиками на улице, спасала его от наплыва туристов. Я потягивал кофе, пережидая, когда откроется после перерыва на сиесту газетный киоск: каждый день я заглядывал сюда после пляжа, чтобы купить «Геральд трибюн»; знакомые английские синтаксические конструкции начинали в здешнем окружении звучать невнятно, доставляя странное наслаждение именно своей невнятностью. Правительственные кризисы и крах на бирже, взлеты и падения в карьере и диалог поколений, право на выбор места жительства и связь времен, гражданская совесть и конец романа – все это становилось иллюзорным, походило на мираж, как и подобает в стране вечно голубого неба; как иллюзорным казалось, скажем, разнообразие лиц в толпе на площади передо мной.

Казалось бы – какой калейдоскоп физиономий, одежд, замашек; но, если вглядеться, обнаружишь поразительную повторяемость стереотипов: скуластый, толстогубый, альбинос, конопатый – вот весь маскарад и исчерпан; экстравагантность нарядов начинает быстро рассортировываться по полочкам стран и народов, и если не угадываешь этническое происхождение человека, то его гражданство, по крайней мере, становится очевидным с первого взгляда. Гражданство если не нынешнее, то исконное, прежнее. Тут можно даже, думал я, встретить лицо, жутко напоминающее, например, Михаила Сергеевича Греца. Откуда, казалось бы, взяться тут этим мощным, как будто проеденным потом залысинам? этим чисто российским, мощным лобовым шишкам завсегда публичных библиотек? этим обширным покатым плечам с наклоненной по-бычьей шеей – от привычки склоняться к собеседнику в библиотечной курилке, когда стоишь, вжавшись спиной в угол, прикрывая ладонью свои собственные слова, вылавливая из дыма слова собеседника; этим советского вида очкам в псевдочерепашьей оправе, спадающим с носа вот уже добрые сорок лет – так что указательный палец, задвигающий их обратно на переносицу, почти прирос ко лбу в жесте вечной задумчивости, вечной проблемы выбора?

Видимо, подобный типаж – явление не столько историко-общественное, сколько антропологическое: физиологическое сходство между Грецем и грузным туристом в панамке было поразительным. Я не успел докончить в уме этой формулировки, когда совсем иное умозаключение стало прокрадываться в мои мозговые извилины. Тип этот, оглядывающийся загнуто по сторонам, как всякий изголодавшийся приезжий, медленно продвигался в моем направлении, и с каждым его шагом мне навстречу, с каждым шарканьем его каучуковых башмаков по асфальту все сильнее и громче вколачивался в висок под стук сердца несколько неожиданный вывод, что сходство между надвигающимся на меня типом и Михаилом Сергеевичем Грецем не просто удивительное; что сходство это прямо-таки идеальное; что этот тип и Михаил Сергеевич просто-напросто одно лицо! Короче говоря, на меня надвигался не кто иной, как Михаил Сергеевич Грец собственной персоной.

От него в Москве шарахались люди его поколения еще в легендарные годы хрущевской оттепели. Он был грозой московских сборищ в самиздатские шестидесятые, когда призывал выходить на площадь и самосжигаться, и он же клеймил в семидесятых отъезжающих евреев – как крыс с тонущего корабля, призывая оставаться русской лягушкой, квакающей из советского болота. Он был не столько производителем громогласных силлогизмов и устаревших парадоксов, сколько их воспроизводителем – он был общественным магнитофоном с хорошим усилителем. Он надоел своим друзьям, потому что как откровение повторял то, что они давно зазубрили назубок, пережив на собственной шкуре; рассчитывать он мог лишь на неопытных юношей, нервических подростков, воспринимавших его как мученика и нового Сократа. Они чуть ли не хором повторяли за ним знакомую самиздатскую жвачку: про хрустальный дворец на крови младенца, про революционную утопию, обернувшуюся тоталитарным кошмаром, про пассивное молчание как преступление, приравняваемое к активному доносу. Молчать они

явно не умели, и лишь эта одержимость с пеной у рта, эта кружковщина и конспирация, эта непримиримость в ее зеркальном подобии большевизму – все это отпугнуло меня в свое время, не сделало одним из них, поставило меня вне их движения и заставило взять курс на окончательную отделенность.

Конечно же, и я прекрасно понимал, что Греца имел в виду, когда путано разглагольствовал о чувстве вины за соучастие в чудовищном происходящем. Он принадлежал к поколению тех, кому слишком поздно – столетие спустя – удалось прочесть запрещенный в свое время роман Достоевского «Бесы»; он был в ужасе, узнав себя в одном из действующих лиц. В отличие от его поколения, поколения опозоренных персонажей Достоевского, мы считали себя не более чем пристыженными читателями «Бесов». Обоим в какой-то момент опостылела эта книга как таковая. Мы решили захлопнуть переплет. Так мы оба оказались в эмиграции. Но вместо того чтобы начать новую жизнь, он стал тут же выискивать продолжение старого сюжета. Он создавал себе новых врагов здесь, чтобы продолжать заниматься прежними доказательствами собственной правоты там. Тема тоталитарного рая на крови младенца и преступного молчания в атмосфере соучастия сменилась историографической версией все того же вопроса «кто виноват?» в эмигрантском варианте: спустились ли большевики с Марса на диалектических тренажерах – или же советская власть лишь диалектическое завершение рабского триединства православия, самодержавия и народности? Считая свой отъезд в эмиграцию публичной манифестацией протеста против советского рабства, он видел в любых либеральных реформах советского режима угрозу собственному героическому прошлому, настоящему и будущему в эмиграции – если сейчас там все так либерально, к чему вообще было эмигрировать?

Периодически я сталкивался с ним на площадях и перекрестках российского зарубежья: в гостиных, на премьерах, конференциях. Кроме того, семья его супруги – из греческих миллионеров – покровительствовала искусствам и литературе, особенно русской литературе, а там, где фонды и стипендии – короче, там, где деньги, там и общение. Столкнувшись со мной, он тут же вежливо брал меня под локоть, отводил в сторонку и, вжав в угол, как в советской библиотечной курилке, громким шепотом начинал втолковывать и разъяснять мне зловредную подоплеку очередного общественного крена или европейского феномена, который оказывался – в его блестящем разборе – не чем иным, как все тем же пресловутым большевизмом, лишь в новой маске. Я представил себе, что сейчас он взмахнет руками, увидев и узнав меня, схватит меня за плечи, начнет трясти, подсядет к моему столику, склонится надо мной своими черепащими очками и начнет долдонить что-то конспиративно разоблачающее, якобы парадоксальное и невыносимо занудное.

Сама мысль об этом ударила куда-то в висок и вонзилась в тройничный нерв, обожгла глазное яблоко, как слепящий луч ближневосточного солнца, поймавший меня солнечным зайчиком, вдруг отраженным от дальнозорких очков Греца. Первая реакция была: вскочить и убежать, даже не расплатившись. Я дернулся, но снова прирос к месту: публика в это мгновение как будто специально расступилась, расчистив между нами дуэльный коридор в четыре шага. Любое резкое движение – и его взгляд поймает меня в очковое колечко роговой оправы. И исчезнет этот залитый солнцем прекрасный и наивный в своей плоскости, как полотно примитивистов, мир. Исчезнет загорелое женское колено за соседним столиком, переходящее в гору апельсинов за стойкой бара, где лебедь, плавающий в озере базарной картинки, путается с белым парусом в море, проглядывающем в заднее окошко. Исчезнет иллюзия собственной опрошенности – без всех наших апокалиптических провалов и эсхатологических взлетов. Я обманывался: что бы ни делало здешнее солнце, уравнивая судьбы и расстояния, российский интеллигент вроде Греца (кем бы он ни был, татарин, жидом или русином) на этом фоне становился еще более навязчивым, неизбежным, настырным, как в Англии тень от наползающего на солнце облака. Я застыл, пришипленный острием этой тени к своему месту за столиком,

в надежде, что туча проскользнет по небосклону и уберется восвояси. Только надо сидеть не шелохнувшись, и тогда острый взгляд этого удава, приползшего из чащобы российской духовности, скользнет мимо, не заметив меня, мышку западнического рационализма.

Но ускользнуть явно не удалось: его глаза, его идеологически заостренные зрачки российского книжника и фарисея, уставились прямо на меня. Я сник. Я, как тяжелобольной в постели, приподнялся, сокрушенно опираясь на столик одной рукой, а другую вздернул вверх и помахал ею, якобы приветственно, в воздухе.

Никакой реакции. Его зорко сощуренные глаза продолжали выедать меня взглядом, не мигая. Его лицо даже не вздрогнуло. Он смотрел явно на меня и тем не менее меня как будто не видел. «Может, он за эти годы ослеп?» И я стал в панике припоминать, всегда ли он носил очки и какие, тут же, впрочем, осознав, что слепому очки вообще не нужны. Я сидел окаменевший под его гипнотизирующим взглядом, пот катился градом со лба. В его молчании, в сомкнутой линии рта и немигающем взгляде таился укор. Это был бессловесный укор пророка, невысказанный упрек и уничижительный взгляд прорицателя мировой катастрофы – надвигающегося мирового оледенения под названием «тоталитаризм», от которого (от оледенения) я и сбежал легкомысленно в этот жаркий рай плоских идей и незамысловатых маршрутов. Я оглянулся вокруг как будто в последний раз, провожая взглядом это лишнее какого-либо смысла и потому райское для меня место. С момента появления Греца этот необитаемый островок грозил превратиться в коммунальную квартиру идеологических склок.

На глаза мне попало меню, вывешенное у меня за спиной перед входом в заведение. До меня вдруг дошел смысл его остановившегося взгляда: он глядел в упор не на меня, а на меню у меня за спиной. Меню было нацарапано, как это бывает в подобных простых заведениях, мелом на черной, как будто школьной доске. У пожилого Греца был вид школьника, пригвожденного вопросом учителя к этой классной доске, где одним из однокашников накорябана загадочная формула. Ответа он явно не знал. Меню было наполовину по-арабски, частично на полуграмотном английском, почерк черт знает какой, цифры цен сдвинуты в другой ряд по отношению к наименованию блюд, смысл которых он явно не мог разгадать: я заметил, как шевелятся у него губы, пытающиеся в повторном движении доискаться до смысла иероглифов на черной доске. Чем сильнее его взгляд увязал в загадочном меню, тем яснее становилось мне, что взгляд человека страшно избирателен: человек не видит предметы вообще, даже если они и попадают в его поле зрения; взгляд человека подчиняется законам субъективного идеализма – он видит лишь то, что хочет. Михаил Сергеевич Грец страшно хотел есть. Поэтому видел он не лица идеологических оппонентов вроде меня, а меню – разнообразные меню разнообразных заведений; при всем своем разнообразии я не входил в меню, и он меня не видел. Он глядел поверх голов.

Осторожно, стараясь не спугнуть его глаз, я, не выпрямляясь, съехал со стула и задом, не отрывая взгляда от Греца, попятился прочь от столиков заведения. Ретироваться можно было лишь в одном направлении – вверх по лестнице на балюстраду, где располагался еще один этаж с аркадами магазинчиков и ресторанов. С этого момента какие-либо идеологические дилеммы оставили мой ум: я мыслил как партизан в стане врага, как стратег, пытающийся прорвать военную блокаду. Верхние галереи были хороши по крайней мере тем, что как наблюдатель я занимал тут командную позицию – отсюда просматривался каждый шаг Греца. Как в подзорную трубу, я следил за его передвижением от заведения к заведению, от витрины к витрине; наконец он остановился возле стойки с открытками у входа в кафе с англоязычной «интеллектуальной» публикой, где обычно продавали «Геральд трибюн».

Пока он крутил вертушку стойки, разглядывая открытки, я злился на самого себя, разглядывая его. Неужели из-за какого-то старпера-демдвижника я нарушу свой послеопуденный моцион и лишусь кофе под «Геральд трибюн»? Неужели я не найду в себе тот самый мускул душевной жесткости, избавляющей от лицемерия, и не отбрею его стандартным: «При-

ятно встретиться, но, извините, как-нибудь в другой раз»? Почему я должен скрываться от него, как школьник, прогуливающий школу, скрывается от родителей? В этот момент он поднял голову и оглядел верхний этаж, как будто бы задержавшись взглядом на том месте у лестничного пролета, где я стоял. Коленки мои снова подогнулись, и там, где сердце, стало пусто, как перед экзаменом. Неужели заметил? Не может быть! При его близорукости! Но почему близорукости? Почему не дальнорукости? Откуда мне знать – я что, его окулист, что ли?! Злясь на самого себя и эти экзистенциальные вопросы, я, демонстративно выпрямившись во весь рост и задрвав подбородок, стал спускаться по лестнице, громко стуча каблуками, но тут же нервно вцепился в перила и стал жаться за спины прогуливающейся публики, когда вновь увидел Греца у столиков «моего» заведения.

Он опять тупо изучал невразумительное меню. Потом, оглянувшись пугливо, по-русски (я же, в свою очередь, пугливо нырнул за очередную спину прохожего), уселся за столик, отерев пот со лба панамкой. Значит, понял, что это стоящее заведение? Каким образом, однако, он решился выбрать именно это ничем не примечательное заведение из десятка других, аналогичных? Своим видом и образцами блюд, выставленных под стеклянным колпаком за стойкой бара, заведение должно было скорее отпугнуть такого человека, как Михаил Сергеевич Грец с его требованиями борща, котлет на второе и непременно киселя на десерт вне зависимости от климатических условий. Единственное объяснение состояло в том, что он таки заметил меня сидящим в этом заведении; а если я, известный знаток здешней жизни, сидел именно в этом заведении, а не в каком-то другом, значит, это заведение стоит того, чтобы в нем сидеть. Такова была неизбежная логика Греца. Если, конечно, он не руководствовался какой-то другой логикой – например, логикой случайного выбора.

Так или иначе, сидел он в этом заведении, как выяснилось, недолго. Сжимая в потных руках купленную наконец заветную «Геральд трибюн», я пробирался сквозь толпу к выходу из магического бетонного квадрата ресторанной площадки, когда в нескольких шагах от меня сквозь kaleidoscope повторяющихся физиономий как наваждение стало снова наплывать лицо – лицо русской совести, отражающее, по моим представлениям, оборотную сторону русской бессовестности в моем лице: мне снова показалось, что он заметил меня, но виду не подал. «Я должен поздороваться», – твердил мне мой внутренний голос, мое внешнее чувство достоинства, моя выехавшая за пределы Советской страны совесть, мой лишенный гражданства гражданский голос. Наши лица сближались, покачиваясь, не признанные пока друг другом, не опознанные среди других лиц иностранного происхождения. Толкучка была такая, что отступить было некуда.

Я уже раскрыл губы, напряг горловые связки, дернул плечом, чтобы протянуть руку ему навстречу, но, когда мы вновь оказались на расстоянии четырех дуэльных шагов друг от друга в расступившейся на мгновение толпе, я сдрейфил. Я не понимал, куда он смотрит: мне казалось, что он смотрит прямо на меня, но одновременно и вне меня, помимо меня, как бы сквозь меня. Впечатление, что мой встречный друг вдруг ослеп, вновь повторилось; мы двигались навстречу друг другу в полуденном свете, как в крошечной тьме или как во время игры в жмурки – с завязанными глазами.

В последний момент я не выдержал: ноги понесли меня резко в сторону, и я шмыгнул в узкий промежуток-проход между постройками – слепой проулочек между боковыми стенами ресторанчиков, заставленный помойными баками. Мой воровской, с оглядкой, рывок закончился тем, что я поскользнулся на огрызке гнилой капусты или чего-то там еще; пытаясь удержаться, я стал хвататься за склизкие стены, вымазался какой-то дрянью, стекающей из-под крыши, и, приземляясь на кучу помоев из опрокинутого бака, ткнулся рукой с «Геральд трибюн» в вонючий асфальт, усеянный лепешками то ли овечьего, то ли кошачьего дерьма. Чертыхаясь, я зашвырнул измызанную газету в помойный бак и поплелся в отель, не оглядываясь.

Трудно сказать, сколько часов я отмокал в ванной, пытаюсь мыльной пеной забелить память о позорном столкновении с последующим падением в помойку. Время от времени я прикладывался к дымному ирландскому виски «Джеймисон», прихваченному еще в лондонском аэропорту; меня то ли прошибал пот осознания собственной ошибки, то ли это были просто-напросто капли пара, стекающие со лба на глаза, а глаза, в свою очередь, покраснелись то ли от дымного виски и пара, то ли от слез раскаяния. Я проклинал свой эгоизм и мизантропию. Черт меня дернул столкнуться с ним именно в этом ближневосточном закоулке, где, куда ни повернешь, непременно столкнешься друг с другом. В любом другом месте – будь то Нью-Йорк, Париж или Иерусалим – я бы тут же взял на себя временную роль гида, объяснил бы и показал, куда пойти, что посмотреть и где переночевать. Конечно, мне стыдно при мысли о том, как он, человек пожилой, мыкается тут в незнакомой местности со своей престарелой супругой, еле стоящей на ногах, и толком не может разобрать меню в ресторане. Я бросил их на произвол судьбы. Он, конечно же, заметил меня. Это ясно. Трех столкновений вполне достаточно. Рассудив, что я его не желаю видеть, он сам сделал вид, что меня не заметил. И никакие объяснения насчет слепоты на знакомые лица в экзотической местности или мифической избирательности взгляда в зависимости от целей и желаний тут не помогут.

Но при всем моем чувстве раскаяния по поводу случившегося я знал, что иначе поступить и не мог. Тащиться за тридевять земель из Туманного Альбиона, чтобы с утра до вечера целую неделю толкаться в эмигрантской коммуналке с самым занудным из возможных соседей?! И это милое, в своем роде уютное, хотя и неприхотливое курортное местечко на краю света вдруг представилось мне символом эмигрантской скученности, эмигрантской безысходности. Да только ли эмигрантской? Почему, с какой стати я обязан был еще в Москве считаться, общаться, встречаться и прощаться и вновь встречаться с этим глупым, назойливым и крикливым демагогом? Почему наличие общего политического врага заставляет нас, российских людей, делать вид, что мы друг другу чуть ли не родственники? Я вдруг почувствовал, что ненавижу Михаила Сергеевича Греца не потому, что он человек другого поколения или же чуждых мне идей, а просто потому, что я не могу и никогда не мог вынести ни его брызжущего слюной рта, ни его вечно грязных ногтей, его потных затылков и толстого живота. В любых других исторических обстоятельствах, в любой другой цивилизации нам достаточно было бы перекинуться беглым взглядом, чтобы осознать взаимную неприязнь и никогда больше не встречаться. В российско-эмигрантской ситуации мы потратили чуть ли не двадцать лет, уговаривая друг друга, что речь идет о разнице в идейных позициях и в проблеме поколений.

Резкий запах виски в ванной уносил меня с клубами пара в Лондон, где сейчас наступал сезон туманов, особенно под вечер, когда каждое дерево в парках обретало нимб и оттого казалось еще более независимым и отделенным от всего остального мира на изумрудной лужайке, а выступающий сквозь туман свет в отдаленном окне или неоновая нитка рекламы меняли перспективу своей видимой близостью и оттого создавали еще большее ощущение простора и одновременно гипнотической доступности предметов на горизонте. Я потянулся к бутылке: она была пуста.

На этом надо было остановиться, но меня тянуло наружу, обратно в Англию, как будто за окнами отеля «Нептун» плескался Ла-Манш. Но снаружи весь городок обложила душная южная ночь. От бара к бару я бессознательно продвигался к центру, к той самой площадке городских развлечений, где и произошло столкновение с Грецем. Меня явно тянуло туда, как убийцу тянет на место преступления желание исправить плохо выстроенный сюжет. Высвеченный фонариками, висячими прожекторами или же гробовыми толстенными свечами цветного воска на столиках, двухэтажный этот комплекс с дискотеками и ресторанами напоминал ночью рампу, ложи и балконы гигантского театра, отчего высвеченные лица казались театральными масками. В припадке пьяной искренности и задушевности я хотел сорвать маску с этого мира, притворившегося плоским и простым при дневном свете, а с наступлением тьмы обернувшие-

гося хитроумным театром кукол; я, своим жестокосердием приговоривший своего старого знакомого чуть ли не к смертной казни через отвращение, пытался возместить эту бессердечность проклятиями в адрес искусственности нашей цивилизации, механистичности и отчужденности вообще. Я хотел сорвать железную маску цивилизации и прикинуться к щедрому теплому телу природы.

Вместо этого я прилепился к щедрому теплому телу случайно встреченной американки. Я наткнулся на нее в одном из баров, когда стал вдруг распевать по-русски оголтелым образом «Всегда быть в маске – судьба моя» – то ли из оперетты «Летучая вдова», то ли «Веселая мышь». В ответ я услышал с американским журчащим прононсом: «Christ, the place is swarming with Russians!» Я сначала хотел возмутиться, но потом понял, что она совершенно права: «Это местечко кишит русскими». Как, впрочем, и американцами. Я сказал, что она совершенно права, это местечко кишит русскими и американцами и нам ничего не остается, кроме как выпить «Кровавую Мэри» – из русской водки с американским томатным соком. Она сказала, что зовут ее Мэри. Больше мы не сказали друг другу ни слова. «Кровавость» Мэри мы нашли вскоре излишней и стали пить водку прямо так, без всякой кровавости томатного или какого-либо другого американизма. Мы закончили эти упражнения по дружбе народов в моем номере «Нептуна», где всю ночь с какой-то обоюдной остервенелостью изливали друг в друга совсем иные соки. Это было общение поверх идеологий и поколений. Она исчезла наутро без следа.

* * *

Впрочем, я не прав: ничто не исчезает без следа – будь то след на чужих простынях или на собственной репутации. Солнце, как я уже не раз повторял, устраняет дистанцию между предметами: судьба, как хитроумный рассказчик, увязывает в одну концовку совершенно разрозненные обстоятельства, и за это сближение приходится расплачиваться потерянными возможностями, как обгоревшей на палящем солнце кожей.

После фатального столкновения на африканском побережье я понимал, что не смогу принять приглашения семейства Грец: провести «творческий отпуск» на их вилле в Греции. Особняк этот достался Грецам в наследство через супругу Михаила Сергеевича, Софью, в девичестве Попандопуло. Софья Константиновна, как я уже упоминал, происходила из семьи миллионеров – феодосийских греков; отец ее полжизни провел в России, был большим знатоком литературы и искусств, меценатствовал, знал Дягилева и Бенуа. Он завещал небольшую, но регулярную сумму денег – своего рода фонд-стипендию – в помощь нуждающимся русским интеллигентам-эмигрантам. Речь шла об оплате всех дорожных расходов и полном содержании (от одного до трех месяцев) в шикарном особняке с мраморными колоннами (конечно же, под Акрополь) на Крите. Кретинизм состоял в том, что я, оказавшийся лауреатом этого года, чувствовал себя вынужденным от этого рая отказаться. Созерцать каждый раз за завтраком светящуюся верой в человечество физиономию Греца и вспоминать его растерянное под африканским солнцем лицо с устремленным на меня невидящим взглядом было выше моих сил. Моя аморальность не подразумевала непоследовательности в вопросах морали.

Поэтому, когда на мой лондонский адрес прибыла депеша с Крита с официальной просьбой к стипендиату подтвердить предстоящий визит, мне ничего не оставалось, как сочинить пространный ответ-отказ, где, раз десять выразив благодарность фонду Попандопуло за оказанную мне честь, я объяснял невозможность воспользоваться на этот раз гостеприимством семейства Грец ссылкой на неожиданный контракт с французским радио, что требовало моего постоянного присутствия в Париже (контракт на инсценировку моего романа «Русская служба» действительно был подписан; но моего присутствия в Париже при этом совершенно не требовалось); в конце письма я выражал надежду воспользоваться щедростью фонда Попан-

допуло в будущем, до скорой встречи, Ваш и т. д. и т. п. В ответ тут же пришло экспрессом письмо от Михаила Сергеевича Греца. Вот оно без дальнейших комментариев:

«*Mea culpa*, голубчик мой, *mea culpa*. Предвидел Ваш отказ, надеялся, что минет меня сия чаша позора, – и вот, старый дурак, признаю: наказание заслуженное – *mea culpa*! На всю жизнь, голубчик, запомню Ваши глаза, глядящие на меня с безмолвным укором – из-за столика, в толпе, с галереи. А я, старый дурак, делаю вид, что не вижу Вас в упор. Вас, с кем всегда так рад перекинуться словом, обменяться взглядами (*sic!*) по текущему моменту. И не единожды – три раза наложил в штаны: три раза сделал вид, что не знаю Вас, три раза отрекался от Вас на том распроклятом пяточке.

Сколько раз, голубчик, брался за перо, чтобы оправдаться перед Вами за безобразную по детскости выходку, надеялся, старый дурак, что столкнемся где-нибудь на наших эмигрантских посиделках, на конгрессе каком-нибудь – объяснюсь, думал, улажу нелепый эпизод. А сам в душе лелеял надежду, что не был я пойман с поличным; что не видели Вы меня, а если и видели, то не узнавали. Бывает, знаете ли, так: глядишь и не видишь.

Но когда получили Ваш любезный отказ в связи с Попандопуловой стипендией, понял я, что дела мои плохи. Это Вы, в своей присущей лишь Вам, голубчик, истинно джентльменской манере, дали мне понять, насколько мое давешнее хамское поведение кровно обидело Вас. А ведь совершенно, батенька, напрасно. Я, знаю, хам и arrogant ужасный, и поступок мой непростительный. Но уверяю Вас, что мы, голубчик, бесконечно с Софочкой Вас любим, глубоко ценим и уважаем.

Без обиняков приступлю к аполгии – не защите! *Mea culpa*. Аполгия моя – *ad absurdum*: в моей лживости, порочности и сугубой необузданности моих страстей. Поверите ли? Изменяю своей верной подруге жизни, своему боевому товарищу на идеологическом фронте, санитарке своей в нашем общем эмигрантском окопе – короче, своей супруге Софье Константиновне. Люблю Софочку всей душой, умом и гражданской совестью. Но сердце мое, голубчик, пустилось наперегонки с моей сединой. И бес под ребром погнал меня в эту африканскую курортную республику, где мы с Вами так неудачно пересеклись.

Короче, американская девица, которую Вы, несомненно, заметили рядом со мной в то роковое наше столкновение, и есть причина моего непростительного игнорирования Вашего присутствия. Я сдрейфил: с Вашим знанием английского между Вами и ею непременно завяжется светская болтовня; Вы, ничего не подозревая, брякнете американке про мою супругу; выяснится, что я женат, и моему недолговечному любовному счастью конец? Мы с ней познакомились на конференции по правам человека, она меня, как говорится, за муки полюбила, я, голубчик, кое-какие страсти присочинил. Унизительно, голубчик, входить сейчас в разные детали, но суть сводится к тому, что я перепугался: если пойдет между вами разговор, моей легенде в ее глазах конец. Как ребенок, голубчик мой, пустился я в этот нелепейший спектакль: как только увидел Вас за столиком, стал делать вид, что я, мол, не я и американка вовсе не моя, никого не вижу, в упор не замечаю, моя хата с краю, я ничего не знаю. Позор, одно слово, позор!

Иначе как помрачением ума этот сексуальный мандраж в моем преклонном возрасте объяснить не могу. Если же Вы все еще питаете ко мне, душа моя, какие-либо мстительные чувства, то могу утешить Вас сообщением, что никто на свете не остается безнаказанным. После инцидента с Вами на курортном пяточке я серьезно повздорил со своей юной американской подругой (она настаивала на кофе с мороженым, мне же в моем возрасте необходимо трехразовое питание). Хлопнула дверь и ушла восвояси, не сказав даже до свиданья. Спуталась, наверное, с каким-нибудь молодым наглецом. И даже не „наверное“, а с достоверностью знаю, что таки спуталась, поскольку я отыскал отель, где она в ту ночь останавливалась („Нептун“, на берегу, если помните), и тамошний портье мне подтвердил, что ночь она провела отнюдь не в одиночестве, потаскуха! Что ж, *mea culpa*. Вечно Ваш Мих. Серг. Грец».

1988

Белый негр и черная кола

Эдик верил, что свет разума и рациональное начало в конце концов победят темные силы, страхи и примитивные инстинкты в природе человека. Он обещал себе неустанно бороться со своими низкими чувствами. Разум говорил ему, что нет никаких рациональных оснований считать, что чернокожий африканец (не говоря уже об американском негре) стоит на низшей – по сравнению с белым европейцем – ступени развития. Он всей душой осуждал расизм. Презирать человека за другой цвет кожи было абсурдно. Эдик знал, что это дурно, но ничего с собой поделать не мог. В присутствии негра он просто не понимал, как себя вести: входил в состояние паники, немел, потел и пялился, как в афишу коза. Недаром негров когда-то показывали в зоопарке как экзотику. Африканские джунгли, людоеды, обезьяны, тарзаны. Ему было нехорошо от собственной низости.

«Знаешь, старик, надо угадать в себе эти темные силы и примитивные инстинкты, обуздать их и вынести на всеобщее обозрение. И создал Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся – ну и так далее, и увидел Бог, что *это* хорошо. Понимаешь, старик? Хорошо! В этом и заключается дар писателя. Писатель создает новые миры из всего темного и примитивного. Он как Бог – для него ничего дурного не бывает: все созданное им – хорошо. Вот и ты так должен творить. И если, поставив точку, не можешь сказать: это *хорошо*, – выброси все написанное на помойку!»

Так писал ему в Москву из Нью-Йорка его друг и наставник Марк Гранкин. Критические обзоры Гранкина и его размышления о судьбах русской литературы регулярно печатались в еженедельнике «Новый американец». Его суждениям Эдик верил безоговорочно. Под его влиянием Эдик пытался сочинять прозу, рассказы, истории всякие. Согласно его же указаниям, все написанное Эдик выбрасывал на помойку. Именно потому, что никак не мог обнаружить в себе эти темные силы и низкие инстинкты – особенно после напряженного рабочего дня в отделе компьютерного обеспечения огромной московской фирмы. Но вот сейчас, оказавшись туристом в Нью-Йорке, он наконец понял, что и в нем тоже живут эти самые подавленные инстинкты и страхи, не поддающиеся контролю разума. А это внушало надежду на вход в литературный мир. С этим чувством он и шел в гости к Марку Гранкину.

Сам Манхэттен, как будто вычерченный линейкой геометра (с юга на север идут авеню, с востока на запад – стриты), был материализацией именно такого рода конфронтации – разума и инстинкта, потому что в толпе людей на улицах (авеню и стритах) не было и следа геометрической безупречности. Это был серый декабрьский денек, с неба сыпалась какая-то мглистая невразумительная дребедень, размазывающая небоскребы в одно неразборчивое пятно, как будто ты видел все, сидя внутри такси перед запотевшим стеклом. Из решеток вентиляции нью-йоркской подземки апокалиптически извергались клубы пара, переругивались друг с другом гудками и сиренами автомашины в пробке, как некое музыкальное сопровождение к молитвенному повтору-причитанию продавцов хот-догов и всякой белиберды с уличных лотков. Манхэттен показался ему коридором гигантской коммунальной квартиры – замусоренной, перенаселенной и крикливой. На каждом углу толкались нищие и бродяги. И главное – черные. Негры то есть. То есть, наверное, не все из них были африканскими неграми. Но в этой мгле трудно было различить, кто негр, а кто просто черномазый из какой-нибудь Мексики. Они были для Эдика все на одно лицо. И их было много. Чуть ли не каждый второй. В глазах от них было черно. Они готовы были оскорбить Эдика, ограбить его, избить, прошить шприцами наркоманов с зараженными иглами и выбросить на помойку, как неудачный рассказ. Разумом он понимал, что это не так, что это паранойя, тяжелое наследие изолированности советской России от всего остального мира, но ничего с этим параноидальным страхом поделать не мог.

Он поделился своими противоречивыми чувствами в отношении чернокожих во время застолья у Гранкина. Гранкин и его приятель, поэт Будкевич, согласились с тем, что расовая проблема до сих пор – ключевая для Соединенных Штатов. Сам Гранкин так и сказал: ты, старик, задел самую чувствительную болевую точку американского бытия. Труп расизма восстает из гроба истории. Призрак рабовладельческого прошлого до сих пор бродит по американским штатам в разном криминальном обличье – будь то наркомания или вандализм, вооруженный грабеж или мелкое воровство, детская преступность или взрослая невменяемость. Кто, скажем, поколение за поколением получает пособия по безработице и инвалидности, продолжая безответственно плодить детей-наркоманов? Черные. И американское общество, в кандалах политической корректности, ничего не делает для перевоспитания этого паразитического меньшинства, которое грозит стать большинством в недалеком будущем. Потому что американцы парализованы чувством вины за преступления своих предков-рабовладельцев. Говоря все это, Гранкин выставил вторую бутылку бурбона.

«В России рабства не было, но расизм тем не менее тоже расцветает пышным цветом», – решил заговорить о собственных комплексах Эдик.

«Как это в России не было рабства? – возразил поэт Будкевич. – А как насчет крепостного права?»

«Но не было работоторговцев, – поддержал Эдика его ментор Гранкин. – Знаешь, с плетьюми, с галерами».

«Насчет галер не знаю, но плети как раз были. А торговля мертвыми душами? Вспомним Чичикова».

«Ну это все Гоголь, русская душа, а я говорю о работоторговцах и африканских неграх в кандалах».

«Гоголь был украинцем».

«Но писателем он был русским. Ты прочти *Другую страну* негритянского писателя Болдуина. Ты поймешь разницу. Раса – как другая страна. Роман, кстати, был переведен на русский».

«Само слово „негр“ по-русски – это, по-моему, расизм», – сказал Эдик.

«Говорят, у негров самые большие члены», – сказал Будкевич.

«Это кто говорит? Это расизм. Среди кого – самые большие? Насколько мне известно, самый большой член у улиток», – сказал Гранкин.

«Глупости, как это может быть? Улитка – размером с палец!»

«Вот-вот. Все зависит от того, с какими мерками мы подходим, какими масштабами руководствуемся. Пенис у улитки самый большой в пропорции к размерам ее собственного тела. Кроме того, улитки – гермафродиты. У них есть и пенис, и вагина».

«А твой Джеймс Болдуин? Он ведь еще и пидорасом был».

«Ну и что? Что ты хочешь этим сказать?»

«Ничего. Я, конечно, осуждаю расизм, но гомики – это выше моего разума. Это я принять не могу».

«Чего ты не можешь принять?»

«Ну знаешь, трахаться туда... в общем, понятно».

«Куда? Ничего не понимаю».

«Сам знаешь».

«А с женщинами это можно?»

«Я с женщинами такого себе никогда не позволял».

«У тебя вообще с сексом проблемы. Недаром ты до сих пор без бабы».

«Это потому, что мой английский хромает. Я не могу заворожить женщину своим остроумием и обаянием».

«Найди себе даму из России. Косяками тут ходят».

«Мне неинтересно. Я что, для этого в Америку эмигрировал?»

«А для чего ты, действительно, эмигрировал? Может, ты у нас пидор?»

«Я эмигрировал от антисемитизма».

«А знаешь анекдот про Рабиновича и козу? Идет Рабинович по русской деревне, а навстречу ему коза...»

«Да-да, слышали. Но про негра и обезьяну будет посильней. Если послушать российские анекдоты про негров, уши вянут. Знаешь, про то, как идет негр по русской деревне, а навстречу ему два русских мужика. Один другому говорит: смотри – обезьян!»

«Это расизм», – сказал Эдик.

«Вот-вот. Безобразие. Негр им так и говорит: как вы можете, это расизм, я кончал Гарвард, изучал Гоголя, идеально говорю по-русски, почему вы оскорбляете меня расистскими кличками? Тогда один мужик – другому: смотри – обезьян, а говорит?!»

«А слышали, как Сергей Довлатов встретил ночью негра в Нью-Йорке?» – спросил Гранкин. Он был другом Довлатова по Ленинграду. Довлатов был легендой русского эмигрантского Нью-Йорка. Он работал на радиостанции «Свобода». Его рассказы в переводах печатал журнал «Нью-йоркер». Ходили слухи, что его вот-вот напечатают гигантскими тиражами в новой свободной России. И Гранкин рассказал Эдику историю про то, как Довлатов с женой после какой-то пьянки шел по ночному Нью-Йорку и заблудился в даунтауне. Это была душная влажная нью-йоркская летняя ночь. На улицах валяются бродяги и бродят доходяги. Жуть. И вдруг из переулка появляется гигантский негр. И движется прямо на них. Негр почти голый, в майке, мускулы размером с пудовые гири, с шеи свисают цепи, на руках браслеты, волосы заплетены в африканские косы. Довлатов решил: все, конец. Все дальнейшее рассказала ему жена. На мгновение оцепенев, Сергей встряхнулся и бросился вперед, навстречу негру, схватил его в свои объятия и – поцеловал! Прямо в губы. Взасос. «Ты видел когда-нибудь белого негра?» – спрашивала его потом жена. Дело в том, что негр от этого поцелуя совершенно побелел. От страха. Глянул с побелевшим лицом на огромного, чуть ли не двухметрового Довлатова и бросился бежать с криками ужаса, гремя цепями и браслетами.

Выпили за здоровье Довлатова. Разошлись довольно поздно. Свои внутренние противоречия Эдик так и не разрешил, но, несмотря на то что довольно сильно нагрузился, чувствовал некоторое облегчение. По крайней мере, поговорили откровенно, без уловок, на болезненную тему. Вокруг сияла реклама, и в этом вавилоне огней, в этой сияющей тьме трудно было разобрать, кто негр, а кто белый, кто эллин, а кто иудей.

Его Hilton был в двух шагах за углом. Лифт был явно малогабаритный для такого огромного отеля, и Эдик оказался зажатым между пожилой парой в спортивных рейтузах и бейсбольных кепках, матерью-гигантессой с кошелкой, где спал младенец, азиатского вида бизнесменом с дипломатом в руке, молодым человеком с университетским рюкзаком и его подружкой на роликовых коньках. Эдику было жарко: его твидовый пиджак – специально для этой поездки – был не для перетопленных американских интерьеров. На седьмом этаже (Эдику нужен был двадцать первый) в дверях лифта возник огромный негр в безукоризненном белом – не по сезону – костюме, вроде таксидо. «Down?» – спросил он, глядя на Эдика, и, не дождавшись ответа, поспешил войти в лифт. «Up!» – с запозданием услышал он из задних рядов. «Down!» – сказал негр: он ошибся направлением – лифт шел вверх, а ему явно нужно было вниз. Но двери уже закрылись, и лифт поплыл дальше. Готовясь выйти на следующем этаже, негр остался стоять у дверей, вплотную к Эдику. На две головы выше, он нависал над Эдиком нью-йоркским небоскребом. Глянув на него украдкой из-под низу, Эдик поразился резными чертами лица, как будто из отшлифованного черного мрамора. Эдик пытался отодвинуться от нового попутчика, но сзади как будто поджимали те, кто должен был выйти на следующем этаже, так что он и негр оказались прижатыми друг к другу в невидимом объятии – или как в клинче на ринге.

В этот момент лифт дернулся и остановился между этажами. Эдик не в первый раз застревал в лифте. Но это были отечественные лифты. Ты знал, что кто-нибудь обязательно придет на помощь. Ты знал: рано или поздно внизу обнаружат, что лифт не пришел обратно, поднимут тревогу. Позовут милиционера или водопроводчика из домоуправления. Соседа с ломом в руках. Ты мог выкрикивать на родном языке матерные слова в адрес лифтерши. В России все, может быть, и ужасно, но ты знаешь, кто виноват и что делать, хотя сделать ничего не можешь. Здесь же ты был в руках у судьбы, изъяснявшейся на иностранном языке. Здесь ты – заложник полной неопределенности. Лифт повис между этажами, а внутри лифта повисла тишина. Все молчали и старались не встречаться взглядами. Так ведут себя люди западной цивилизации: делают вид, что ничего не произошло, и даже в катастрофические моменты сохраняют нейтральное выражение лица. Входя в лифт, ты должен улыбнуться: не потому, что ты любишь всех, кто оказался в лифте, а чтобы показать, что не собираешься расстрелять их на месте.

Все хорошо, прекрасная маркиза. Эдик обвел глазами лифт – есть ли вентиляция, или же мы начнем задыхаться через несколько минут? Склонный к фатализму, Эдик с самого начала ожидал какого-нибудь подвоха в этом чуждом ему мире. Нависающая над ним гигантская атлетическая фигура негра в белом была воплощением этой загадочной и страшной фатальности чужой цивилизации. Ему показалось, что губы негра дрогнули в странной улыбке. И тут Эдик почувствовал, что в его бедро вжимается нечто твердое, упругое и живое. Да, это был тот самый инструмент – член, орган, пенис. В тесноте лифта Эдику мерещилось, что пенис этот становился все больше и больше. Мощная эрекция. Неужели у негров действительно самые большие члены? Гранкин, впрочем, прав: размеры в принципе относительны, а не абсолютны – это зависит от точки зрения. Женщины считают, что размер вообще не важен. Как зардевшаяся девочка, Эдик склонил глаза долу, делая вид, что ничего не происходит. И увидел внизу, среди других ног в кроссовках, мокасынах и док-мартенах, еще и туфли негра: это были белые, под цвет его шикарного чесучового костюма, лакированные туфли с глубоким вырезом. На высоченных каблуках – на шпильках. Это были женские туфли. Этот негр с гигантским членом был еще и трансвеститом. Может быть, это и есть Джеймс Болдуин, про которого говорил Гранкин? Он пообещал себе прочесть этого автора, как только вернется в Москву. Или же этот негр – мужчина-гермафродит с вагиной? Может быть, это гигантская улитка? Эдику казалось, что он вот-вот упадет в обморок. Впрочем, упасть в этом битком набитом лифте ему никто не дал бы. Эдик был в панике. Может быть, надо закричать? А вдруг это не пенис уперся Эдика в бедро, а цилиндр складного зонтика в кармане? И тогда его обвинят в оскорблении личного достоинства национальных меньшинств, за это в Америке можно получить и тюремный срок.

В этот момент лифт дрогнул и взмыл вверх. Вместе с лифтом дрогнула и качнулась толпа пассажиров внутри, и негр на своих высоченных каблуках, удерживая равновесие, вжался телом в Эдика, на мгновение обхватив его плечи своими огромными руками, как бы в невольном братском объятии. Эдика передернуло. Негр, казалось бы, заметил гримасу у него на лице. *Sorry*, сказал он, тут же отстранившись. Лифт скользнул вверх и остановился на следующем этаже. Белая спина негра скрылась за беззвучно сомкнувшимися дверьми.

Эдик вышел из лифта на своем этаже и облегченно вздохнул. Перед дверью в свой номер он похлопал себя по карманам в поисках пластиковой карточки – электронного ключа. Он нашел ее в левом кармане пиджака вместе с неиспользованным билетом нью-йоркской подстанции, что было странно, поскольку ценные вещи, вроде этой карточки-ключа, Эдик обычно держал в своем бумажнике, в правом внутреннем кармане. Он нащупал этот правый карман. Карман был пуст. Бумажник исчез. В уме он тут же прокрутил сцену в лифте минуту назад: качнувшийся лифт, прижавшийся плотно к Эдику негр с его пенисом, на шпильках, его руки, скользнувшие по пиджаку Эдика, как бы мгновенно обыскавшие его. Пенис Джеймса Болдуина был отвлекающим маневром. Он его дезориентировал, пока ловкие руки негра вытягивали

из его внутреннего кармана бумажник. Белая спина негра в дверях лифта. У вас спина белая. Goodbye, ladies and gentlemen.

В глазах у Эдика стало темно от бешенства. Он ринулся обратно к лифтам и через мгновение был на первом этаже. Он успел вовремя. Негр в белом стоял на своих шпильках у искусственной пальмы перед автоматом с напитками и шоколадом рядом со стойкой регистрации. В руках у него был бумажник. Черный бумажник. Его, Эдика, бумажник. Он собирался расплачиваться за плитки шоколада и банки кока-колы его, Эдика, долларами. Этот бумажник был для Эдика еще и своего рода сувениром; это был подарок Марка Гранкина, когда тот впервые, после многих лет эмиграции, снова появился в Москве. Он привез фломастеры для детей, всякие шарфики для дам, а Эдику подарил бумажник. «Искусственная, между прочим, кожа», – заметила между прочим подруга из офиса, когда Эдик гордо повертел новеньким бумажником, расплачиваясь в московском баре. «Но зато как у них все хитро устроено и заранее продумано!» – и Эдик продемонстрировал три разного размера отделения для денег, квитанций и, возможно, визиток, и пластиковый кармашек для удостоверения личности, щелки для визитных карточек и даже внутренний кошелек с молнией – для мелочи и всякой всячины. Сейчас он смотрел, как этот негритос своими черными пальцами с бесстыдным спокойствием, нагло и не спеша, пересчитывает доллары. Его, Эдика, доллары.

Эдик ринулся к негру с кулаками. Оказавшись перед черным гигантом, он вызывающе задрал подбородок и выбросил вперед руку, чтобы выхватить у него свой бумажник. Это был жест, неожиданно напоминающий пионерский салют.

«Валет! Отдай мой валет! Give me back мой бумажник!» – Эдик знал, как пишутся многие английские слова, но не знал, как они произносятся.

«Wallet?» – угадал негр. Он смотрел на Эдика жалобно и вопрошающе. В его глазах с нежной поволокой вокруг зрачков читалось удивление и одновременно страх. Тысячелетнее наследие рабства. Ошарашенный, он протягивал Эдику бумажник и испуганно оглядывался по сторонам: его поймали с поличным и он явно боялся полиции. Эдик выхватил бумажник у него из рук. Это была морщинистая рука стареющего человека. Только сейчас Эдик понял, что негр этот далеко не так молод, как показалось в лифте. Как будто пытаясь задобрить Эдика, негр протянул ему заодно еще и банку кока-колы, только что выскочившую из автомата. С банкой в одной руке и с бумажником в другой Эдик с выправкой триумфатора гордо зашагал обратно к лифту.

«These fucking Russians!» – услышал он голос негра у себя за спиной: обидчивый голос лузера. Откуда он знает, что я русский? Может быть, он учился в Москве, в Лумумбе какой-нибудь? Но Эдик не обернулся, чтобы сказать все, что он думает о карманных воришках родом из африканских джунглей.

Добравшись до номера, Эдик плюхнулся в кресло перед телевизором. Он бросил на газетный столик свидетельство своей победы, военный трофей – свой черный бумажник. *Не такие мы мудаки, чтобы всякому пиндосу-негритосу отдавать кровно заработанные баксы.* Он был в страшном возбуждении. Перед тем как исследовать, сколько баксов исчезло из его бумажника, он вскрыл банку с кока-колой, доставшейся ему от негра внизу. Эдик сделал огромный глоток черной жидкости. Станный вкус. Он взгляделся в этикетку. Это была не кока-кола. Это была банка с пепси-колой. Той самой пепси (а не кока-колой), которую он так и не смог попробовать в детстве, когда ее раздавали бесплатно в пятьдесят бог-знает-каком году на Американской выставке в Сокольниках.

Все его детские приятели со двора на Преображенке опробовали этот магический черный напиток из белых бумажных стаканчиков, отстояв в очереди на километр к киоску Pepsi Cola прямо у входа на Американскую выставку. Но Эдика привел на выставку отец, и у отца не было времени на эти глупости. Он тащил семилетнего Эдика за собой из павильона в павильон, час проторчал перед полотнами со страшной мазней, бормоча: *сюрреализм? абстракт-*

ционизм? ужас! извращенцы! – и потом долго бродил между предметами ширпотреба вроде кухонных комбайнов, телевизоров с холодильниками, где лысый русский дядька (Хрущев) кричал американцу (Никсону) прямо в толпе зрителей перед кинокамерами, что мы догоним, а потом и перегоним Америку с нашими спутниками и самоварами без всяких цветных телевизоров. Короче, к последней раздаче пепси-колы они опоздали. А на следующий день рядом с метро „Преображенская“ (где они жили) Эдик увидел первого в своей жизни негра. Именно в жизни, потому что в кино негра он уже видел. Поскольку пепси из бумажного стаканчика ему не досталось, отец сжалился над ним и подарил деньги на газировку и на билет в кино. Это был утренний сеанс с фильмом «Пятнадцатилетний капитан», где злодей-кук подставляет под корабельный компас топор и корабль вместо северо-запада плывет на юго-восток и попадает не на Пятую авеню в Нью-Йорке, а к работаровцам в Анголе. Но чернокожий гигант по имени Геркулес – любимый негр всех советских детей – спасает подростка с его друзьями-пассажирами из плена в джунглях, и все они попадают обратно к себе на борт корабля, поворачивают паруса на северо-запад и возвращаются благополучно в Америку.

Выйдя из кинотеатра, малыш Эдик отправился на угол с двадцатью копейками в кармане, чтобы отведать малиновой газировки. Но к газировщице и ее волшебной тачке-агрегату для шипучки было не подступиться. Эдик пролез сквозь кольцо глазющих граждан и увидел рядом с газировщицей чернокожего человека. Он был черный весь, с ног до головы черный. В белом летнем костюме. Он пытался что-то объяснить газировщице на своем негритянском наречии. Газировщица пялилась на этого инопланетянина, не понимая, естественно, ни слова. Чтобы как-то успокоить черномазого гостя Страны Советов, она налила ему стакан газировки с малиновым сиропом. Негр стал рыться в карманах, но газировщица замахала руками: мол, бесплатно, бесплатно! *От советского народа! Интернационал!* Эдик любил шипучку с малиновым сиропом больше всего на свете. Он завидовал, что негр получил газировку с малиновым сиропом бесплатно. Но негра газировка не удовлетворила. Он оглядывал толпу: люди стояли плотным кольцом, молча изучая эту обезьяну, явно сбжавшую из зоопарка Американской выставки. Негр махнул от безнадежности рукой и двинулся осторожно, как партизан, прочь из окружения. И налетел на Эдика. Нагнулся к нему. Эдик, в панике задирая подбородок, разглядывал лицо из черного мрамора с нежной поволокой в глазах вокруг зрачков. Резные губы раскрылись, сначала беззвучно – как будто это была статуя, а не человек, а потом произнесли фразу на ломаном русском:

«Малчик, малчик, где я? Я потерял путь».

Эдик помнил, как он таранился на негра, так похожего на Геркулеса из кинофильма. Это был киногорой, сошедший с экрана в его, Эдика, советское детство. Он не знал, как этот негр отыщет путь обратно. Эдику хотелось, чтобы этот негр взял его на руки, унес с собой – не на Американскую выставку, а прямо в Соединенные Штаты Америки.

Сейчас, сидя в нью-йоркском отеле, он продолжал сжимать пустую банку пепси-колы, возвратившей его в детство. На запотевшей холодной поверхности банки отпечатались его пальцы, как на экране пограничного контроля в аэропорту Кеннеди. Насчет паспортов Маяковский сегодня оказался бы неправ: ко всем паспортам отношение было плевое. Наоборот: если тебе оказывают излишнее внимание, значит, тебя подозревают. Но отпечатки пальцев аккуратно снимали с каждого иностранца. Эдик не знал, верхом или низом выворачивать пальцы и куда их прижимать. Негр-контролер взял его руку и стал направлять каждый его палец в нужную позицию. Негритянские пальцы были длинные и узкие, как кордебалет Большого театра, но Эдику мерещились каннибалы в джунглях. Метафора насчет Большого театра была не к месту. Там все балерины белые. С другой стороны, в «Лебедином озере» есть и черные лебеди. Эдик содрогнулся от прикосновения негра, палец его дернулся, и всю процедуру по снятию отпечатков пальцев пришлось повторить.

Сейчас его снова бросило в жар, как и тогда, перед паспортной стойкой. Он поднялся и открыл стенной шкаф, чтобы проверить, на месте ли его паспорт. Может быть, негр в лифте прихватил заодно и краснокожую паспортину? Паспорт во внутреннем кармане куртки был на месте. Вместе с бумажником. Черным бумажником. С этим бумажником в руках Эдик вернулся в кресло и положил этот предмет на журнальный столик. От выпитого сегодня в гостях у него плыло и даже двоилось в глазах. Двоилось буквально. Потому что он увидел перед собой на журнальном столике два одинаковых бумажника. Рядом с отвоеванным у чернокожего вора бумажником лежал еще один, совершенно такой же – его двойник – из кармана куртки. Но у Эдика не должно было быть двух бумажников, как и не было двойного гражданства. Эдик потянулся к бумажнику из куртки и стал вертеть его в руках, пока не убедился, что этот второй бумажник ему не мерещится. Он заглянул внутрь разных отделений. И убедился в том, что это был его, Эдика, бумажник. Собираясь в гости к Гранкину и надев вместо куртки твидовый пиджак, он, очевидно, забыл переложить во внутренний карман пиджака свой бумажник с паспортом. Бумажника в пиджаке не было вовсе не потому, что негр ловко вытащил его у Эдика в лифте, а потому, что бумажник был у Эдика все это время в куртке, оставшейся в номере. Бумажник, который Эдик отнял у негра, был вовсе не его, Эдика, бумажник. Этот бумажник ему не принадлежал. Он принадлежал негру. Эдик ограбил человека.

Он схватил украденный бумажник и бросился к лифтам. Внизу, в холле отеля, никого не было. Эдик выскочил на улицу. Глупо было ожидать, что негр будет дожидаться его, Эдика, раскаяния где-нибудь поблизости, на углу. На другой стороне улицы он заметил человека в белом, догнал его на следующем перекрестке, схватил его за рукав, тот обернулся, и в свете уличной рекламы Эдик увидел, что человек вовсе не негр и костюм его далеко не белый, а просто отсвечивал в неоновом свете рекламы под морозящим дождем. Эдик напрасно искал на мокром асфальте отсветы белых лакированных туфель на шпильках. Он двинулся еще за одним темным призраком, еще раз понял, что ошибся, пересек (с юга на север) несколько стритов, потом свернул (с востока на запад) на другую авеню, вернулся на несколько стритов вниз к югу и понял, что запутался в географии и уже не понимает, в какую сторону ему идти, чтобы найти угол своего отеля.

Малчик, малчик, я потерял путь.

Все авеню и стриты казались ему на одно лицо. Но номера у них были разные: в Нью-Йорке потеряться трудно. Это только бумажники бывают одинаковыми. Рядом со входом в его отель в ярком свете уличных фонарей над уличным прилавком с разным барахлом ворочил негр в шерстяной клоунской шапочке. Весь прилавок был завален черными бумажниками. Точно такими же, что и у Эдика в сжатом кулаке.

2014

Беженец

Вена кишмя кишела бывшими советскими гражданами. Этот город вечных шпионов и бывших нацистов, где каждый третий – лишний, в тех семидесятых годах все еще оставался перевалочным пунктом на путях эмигрантов, выехавших из Союза под предлогом воссоединения семей – по фиктивному приглашению фиктивных дядей и бабушек. Одного такого внучатого племянника из Москвы я и прибыл встречать. Как все связанное с московскими отъездами, телеграмма моего приятеля была смесью идиотизма, бесцеремонности и ребячески наивного эгоизма: «Прибываю Вену первая неделя мая встречай Рабинович». Можете себе представить, сколько советских Рабиновичей прибывало в Вену в те годы, и первая неделя мая 1979 года в этом смысле ничем особенным не отличалась. Но мой Рабинович считал себя, естественно, исключением из правила; кроме того, он явно полагал, что Вена от Лондона находится на расстоянии нескольких трамвайных остановок; он, следовательно, был твердо убежден в том, что в Лондоне есть трамваи: если они есть в Москве, как им не быть в Лондоне? Венские трамваи меня действительно поразили – их вид, перезвон, сами рельсы уводили обратно в Москву.

Прибывающие из Москвы семидесятых годов Рабиновичи были, грубо говоря, двух типов. Те, кто направлялся в Израиль, сразу уезжали в особняк с красным крестом на крыше, маскирующим звезду Давида на груди, и оттуда – в Тель-Авив. Те, кто направлялся в Америку или пытался зацепиться в Европе, получали статус политических беженцев. Разного рода благотворительные организации (в зависимости от страны назначения) брали их под свое крыло: выдавали им мизерное пособие и селили их в пансионах и дешевых отелях на время оформления иммиграционных бумаг. Поскольку я не знал ни ожидаемой даты прибытия, ни идеологических намерений моего Рабиновича относительно географии, мне ничего не оставалось, как разыскивать его по нескольким направлениям сразу. Гиблое в общем-то дело. Но выхода у меня не было.

Я чувствовал себя обязанным. В последние месяцы перед отъездом мы довольно близко сошлись с Марком. Впрочем, слова «близко» и «сошлись» надо понимать в узкомосковском, советском смысле. Марк Рабинович был одним из «провождальщиков» – активистов той отъездной эпохи; ни одни проводы тех лет не обошлись без него. Он брал на себя все хлопоты по оформлению бумаг, разного рода разрешений на вывоз книг или картин, занимался отправкой багажа, улаживанием квартирных дел. Из-за отсутствия платных агентств и наемной прислуги бытовые проблемы у нас разрешаются с помощью друзей; бытовые хлопоты поэтому воспринимаются как интенсивное дружеское общение, а разрешение бытовых неурядиц и передраг – как апогей дружеского интима. Так или иначе, Марк Рабинович, в свое время активно участвовав в беготне вокруг моего отъезда из Москвы, считал меня теперь чуть ли не единственным близким ему человеком «за кордоном». Наступала моя очередь поучаствовать в его судьбе: если не дружбой, то хотя бы ответной беготней вокруг его приезда в Вену.

Поскольку у меня двойное – израильское и английское – подданство, связи тут же обнаружались во всех иммиграционных агентствах, эмигрантских организациях и дипломатических службах; в результате дня не проходило без звонка мне в пансион с извещением о прибытии в Вену очередного Марка Рабиновича. Тот факт, что он не из Москвы, не того возраста, не рыжий и вообще не тот Рабинович, выяснялся в последний момент. Я послушно плелся в очередной центр, пансион, отель, благотворительную организацию, чтобы столкнуться с еще одним вывихом эмигрантской судьбы – с истериками и паникой, неоправданными надеждами и скандальным вымогательством надежду не оправдавших.

Я видел двух пенсионеров, бывших заслуженных большевиков, с выпадающими искусственными челюстями; плюясь друг в друга зубами и мокротой, они осипшими голосами спо-

рили: можно или нельзя в штате Техас организовать подписку на журнал «Работница» с доставкой на дом?

Я видел евреев, круглые сутки зашивающих под подкладку пиджаков все свое личное имущество, включая алюминиевые кастрюли: они готовились к нелегальной переброске в Западную Германию – под вагонами поезда и в багажниках автомашин; евреям там давали, по слухам, почетное гражданство и денежную компенсацию за ужасы нацизма.

Я видел людей, твердо уверенных в том, что задача израильских иммиграционных агентств – выкрасть их из отеля и затем под присмотром немецких овчарок и под дулами автоматов «узи» отправить на принудительные работы в социалистические кибуцы пустыни Негев.

Я видел людей, набивающих чемодан за чемоданом пластиковыми продуктовыми пакетами – это был самый доступный в Вене символ процветания для тех, кто руководствовался советскими критериями. Заодно припрятывались и пластиковые помойные мешки для мусора, выдававшиеся постояльцам администрацией отеля. Эти блестящие мешки складывались в копилку будущего благосостояния, а помойку выбрасывали тайно по ночам в коридор и на улицу через окошко. В коридорах несло помоями эмигрантского настоящего.

В большинстве отелей уже не работала канализация. Канализация была забита прежде всего газетами: ими пользовались, по советской давнишней привычке, вместо туалетной бумаги, а туалетную бумагу опять же припрятывали, а потом продавали на эмигрантских толкучках, импровизированных блошиных рынках. Но самым ужасным были куриные перья в унитазах. Бывшие советские люди, попав в Вену, как кур в ошип, быстро разнюхали, что самый дешевый мясной продукт на Западе – курица, которая, как известно, не человек, точно так же, как женщина – не птица. Согласно того же рода российским соображениям, курица, выпотрошенная и упакованная в блестящую пластиковую обертку с наклейкой супермаркета, должна быть заведомо дороже той, что продают с рук, с базарного лотка, в «диком», натуральном виде. Эмигранты покупали на рынке живую птицу и, зарезав, потрошили ее прямо в номере. Ощипанную птицу кидали в электрокипяtilьник фирмы «Радуга», а перья спускались в сортир. То есть перья никак не спускались: трубы уже были забиты перьями предыдущей курицы.

Эти гостиницы для советских эмигрантов узнавались на расстоянии – по вони и еще по постоянному шебуршению и толкучке разного рода людишек у входа. Тут обязательно торчал весь день, как перед входом в публичный дом, архетипический верзила в футболке с малахольным выражением лица, чья деловитость и озабоченность проявлялась лишь в беспрестанной работе челюстей: они усердно пережевывали жвачную резинку – обретенный наконец в неограниченных количествах дефицитный продукт; кроме того, тут всегда судачили бабки в знакомых платочках, усевшиеся вместо лавки прямо на ступеньки или на ящики из-под пива. На фоне майской шикарной, похожей на кремовый торт Вены, утопавшей по весне в вальсах Штрауса и молодом вине, эти шевелящиеся скученным бытом, как черви в банке, эмигрантские общежития гляделись как лепрозории, как чумные карантинны.

После разоблачения очередного подставного Рабиновича я убежал от этой эмигрантской заразы в Гринцинг – пригород Вены в часе трамвайной езды от центра. Буколика мощных улочек, где в каждом доме с пряничной крышей – винный погребок, со столами во дворе и домашними хозяйками в кокошниках и чуть ли не кринолинах, с кружевными нижними юбками при фартуках, разносящими кружки с молодым вином, – все это как будто презрительно сторонилось, как неопрятного доходяги, вышеописанной толкучки венских кварталов, по-городскому неразборчивых в своей готовности приютить чужаков вроде моих сородичей по эмиграции, с их чемоданной суетокой и потной хваткой, цепкостью и напором. Это инстинктивное чувство снисходительности и презрения, гримаса непроницаемости, когда в глаза не видишь бедного родственника или никчемного и опустившегося старого приятеля на светском рауте, эта привычка дурно воспитанных аристократов дернуть плечом и пройти мимо, не повернув головы, со страшной легкостью прививалась и мне в эти венские дни. Как-никак, я считал себя аристо-

кратом эмиграции, в то время как они – советские новоприбывшие – были ее плебсом, люмпен-пролетариатом.

Избежать столкновения с ними было, впрочем, нетрудно: они были заметны за версту, они были как прыщ на напудренном подбородке Вены. Нечто необъяснимо советское тут же угадывалось в грустно склоненной по-бычьей шее, в бессмысленной целеустремленности (в поисках дефицита?) походки, в приниженной сгорбленности и опущенном лице со взглядом исподлобья. Или же, наоборот, в болванистости выпученных от радости глаз и раскрытого рта, в гнусавом и надрывном голосе, все непрерывно и без разбора комментирующем, как акын перед чайной; в преувеличенной жестикуляции, как будто эти истосковавшиеся по вещам руки хотят все перетрогать и перещупать в новом для них мире сбывшегося сна. Именно к этой второй категории и относился тип, усевшийся напротив меня через скверик, у остановки, где я, в один из своих загулов в Гринцинге, дожидался обратного трамвая в Вену.

Слегка навеселе, я пропустил один трамвай, следующий ожидался через полчаса; мне ничего не оставалось, как усесться на лавочку и наблюдать, прикрывшись для виду газетой, классическую пантомиму ужимок эмиграции.

Он был не один: яростно жестикулируя и талмудически раскачиваясь, он втолковывал свое авторитетное мнение – несомненно, по актуальным вопросам мировой политики и судеб земной цивилизации – дородной американке в летней панамке и строгом платье в горошек; она была явно одной из тех дам-благотворительниц, добровольцев из американских агентств, что опекают прибывших в Вену советских евреев, как будто это психически больные родственники. Впечатление мой соотечественник производил действительно не слишком нормальное. Типу этому было лет под пятьдесят – устрашающей породы спорщиков из провинциальных интеллигентов – то ли инженер, то ли школьный преподаватель истории, разочаровавшийся в марксизме-ленинизме. Все в нем выдавало полуобразованного демагога с российских окраин: коренастый и раздутый, как уродливая картофелина, не в высоту, а в ширину и вбок, он был затянут, как в кожуру, в застиранную ковбойку; его кожа, как будто запыленная загаром, оттенялась сединой дорожной небритости; сломанная, видно, оправа его очков была перетянута около дужки клейким пластырем, и он деликатно придерживал очки двумя пальцами – в неожиданно пародийном профессорском жесте.

Машинально скользя взглядом по газетной странице, я вздрагивал, как будто пойманный с поличным, от раскатистого и твердого русского «р» в немислимом, изуродованном, переломанном по всем суставам английском моего бывшего соотечественника. Видимо, лишь я во всей округе мог догадаться о смысле его сентенций, которые он натужным голосом выкрикивал в ухо американке. Как и следовало ожидать, этот смысл сводился к осуждению австрийского населения за отсутствие душевной теплоты и недостаточное сопротивление советскому проникновению на Ближний Восток. Каждый советский человек точно знал, на кого надо сбросить атомную бомбу, чтобы спасти все светлое и гуманное на земле. Терпимость и политес заключались в том, что на одних бомбу надо было сбросить прямо сейчас, а на других несколько позже; разногласия возникали только по вопросу о сроках.

Американку подобные стратегические тонкости явно интересовали лишь постольку, поскольку мой бывший соотечественник находился под ее опекой и административным надзором. Она кивала охотно в знак согласия, но взгляд ее лениво блуждал по площади: так выглядят нянечки, приставленные к пациентам частных психиатрических клиник. Когда ее настырный собеседник слишком яростно начинал размахивать руками, до меня доносились ее вежливые, ни к чему не обязывающие возражения. Так беседуют с невменяемым. Разговор их так или иначе сворачивался. Американка поднялась и, энергично пожав руку моему правдолюбцу, зашагала, с завидной jovialностью толстухек, в сторону винных погребков, откуда уже доносилось разудалое пение под грохот кружек, как будто имитирующих классический звуковой фон из советских фильмов о разгуле нацизма. Через плечо у американки свисала

фотокамера, и я подумал, что, может быть, она вовсе и не опекает моего бывшего соотечественника, а столкнулась с ним случайно, разговорившись невзначай. Так или иначе, без опекунов или противников в споре этот тип существовать явно не мог: стоило американке удалиться, как его глаза стали прочесывать площадь в поисках новой идеологической жертвы. Я тут же еще глубже зарылся в свою английскую газету.

Но было поздно: он неумолимо продвигался в мою сторону и через мгновение уже усаживался на другом конце моей лавочки. Оглядевшись, он стал рывками пересаживаться, сокращая расстояние между нами, как подвыпивший гуляка, клеящий девицу на бульваре. Искося я наблюдал за этой пантомимой загадочных кивков, невнятных хмыканий, зазывных улыбок, подмигиваний и подергиваний, пока наконец до меня не дошло, что своеобразная азбука немых изображала просьбу закурить. У него просто-напросто не было спичек. Я, почти не поворачиваясь, достал зажигалку и поднес огонек к его вывернутой в мою сторону физиономии с сигаретой в зубах. В последний момент порыв ветра рванул вбок огонек зажигалки, мой непрошенный сосед дернулся, сигарета вылетела у него изо рта, он вцепился в нее на лету всей пятерней, и от сигареты на глазах осталась рваная папиросная бумага и кучка табаку. Он тут же стал хлопать себя по карманам в поисках пачки, достал изжеванную бумажную обертку – из самых дешевых местных сортов – и убедился, что пачка совершенно пуста. Очки его с заклеенной скотчем дужкой съехали набок, вид у него был прежалкий, я не выдержал и достал свою пачку «Бенсон энд Хеджес». Он вытянул сигарету деликатно двумя пальцами, обнюхал ее, изучил английское торговое клеймо и сказал с уважением, полувопросительно: «Ынглишь? – И, уже не сомневаясь, тыкнув пальцем в газету «Таймс» у меня на коленях: – Ынглишь!»

Эта тонкая и прозрачная газетная страница, испещренная иностранными иероглифами, этот самый «ынглишь» стали для меня в это мгновение верным политическим убежищем, пуленепробиваемым стеклом, за которым я мог пересидеть в полной душевной безопасности эмигрантскую атаку и в то же время не упустить ни одного момента метаболизма этого марсианского пришельца. Признаться этому монстру в родстве значило проигнорировать собственный многолетний опыт освобождения от рабства советского прошлого и вновь приобщиться к ажиотажу эмигрантской толкучки в выборе новой родины. Каждый Рабинович этого заезда высказывал совершенно непререкаемое мнение насчет того, куда надо ехать. Но каждый тем не менее с энтузиазмом ждал опровержения своего окончательного решения, потому что втайне от себя подозревал, что кто-то другой знает нечто такое, что неизвестно ему: что-то кому-то давали получше здешнего где-то там, где нас нет. Полный аристократического презрения к подобным плебейским дилеммам, я не моргнув глазом кивнул и подтвердил, что я да, мол, «ынглишь». Признайся я в своем российском происхождении, разговор тут же скатился бы к выяснению того, где и как можно устроиться. Я же не был заинтересован в увеличении российского этнического меньшинства на Британских островах.

Мой Рабинович энергично затянулся английской сигаретой, снова поправил сломанную дужку очков по-лекторски, двумя пальцами, потер подбородок и, придвинувшись ко мне вплотную, доверительно сообщил на своем чудовищном английском, что Англией он крайне недоволен. Я осторожно поинтересовался, чем же это ему Англия не угодила. Англия, как выяснилось, не помогает Израилю. Я пробормотал что-то насчет декларации Бальфура и что даже мусульманские народы обвиняют Англию в том, что Израиль – ее, Англии, креатура. На это неумолимый Рабинович возразил, что английские педерасты – известные любители мусульманских народов, которых давно пора кастрировать; англичане накладывают эмбарго на продажу оружия израильтянам вместо того, чтобы засунуть хорошенькую бомбу в зад палестинским террористам. Эти палестинцы, которым давно следует поотрывать яйца, обосновались в Ливане и не дают жить местному христианскому населению, а весь мир, кроме Израиля, смотрит на это сквозь пальцы.

Тут мое любопытство к бреду бывших соотечественников стало уступать место застарелой неприязни: вновь российский человек знает, кому следует поотрывать яйца и кого кастрировать; вновь мы окружены врагами, и опять кто-то виноват в неприглядности и убогости нашего бытия и мышления; вновь готовится заговор против христианской цивилизации, и, чтобы ее спасти, надо сбросить еще на кого-то еще одну бомбу. Не говоря ни слова, я сунул под нос этому искателю справедливости разворот в «Таймс» – с фотографией последней израильской бомбежки палестинского лагеря под Бейрутом: трупы стариков, женщин и, естественно, детей, да и террорист с оторванными яйцами в госпитале тоже не вызывал особого ликования. Мой компатриот смотрел на эту фотографию как в афишу коза. Об этом налете чуть ли не целую неделю долдонили все газеты, радио и телевидение, но советский Рабинович об этом впервые слышал.

«Я ведь по-английски и по-австрийски плохо понимаешь», – признался он, коверкая грамматику; впервые за весь разговор на его лице появилось выражение беспомощности.

«Могли бы заглянуть в русскую газету, – сказал я. – Вам в отеле выдают бесплатно эмигрантскую прессу». – «В каком отеле?» – затряс он головой. Он не читает по-русски. Он русский презирает. На нем говорит Советский Союз, а Советский Союз поддерживает его кровных врагов – палестинских террористов.

«На каком же, интересно, языке вы вообще читаете, если не по-русски? – взбесился я на этого заново рожденного сиониста. – Вас в школе какому языку обучали? Еврейскому, что ли? Или, может, арабскому?» – «Ну да, арабский», – кивнул он. И повторил: французский и, конечно, еще и арабский. Он же двуязычный, как всякий христианин-ливанец из Бейрута. И он развел руками, как будто извиняясь за знание арабского.

...Ковбойка оказалась ливанского производства. Как и засаленные брюки с волдырями на коленях, и сломанная оправа очков, и башмаки на микропорке не по сезону; как и раскатистое твердое «р» в произношении. Его дом был взорван палестинцами, захватившими его квартал; они же расстреляли всю его семью. У него еле хватило на билет в Европу. Какими путями и зачем он попал в Австрию, трудно было понять: маршруты всех на свете эмигрантов объясняются не столько практической географией, сколько счетами с прошлым и надеждами на будущее, а они у каждого эмигранта слишком запутанны, чтобы разобраться в них случайному попутчику. Я узнал лишь, что работал он тут судомойщиком и на скверик выходил в свободные часы, чтобы поговорить с туристами: через них он узнавал, что происходит в мире, – на газеты у него не было денег, да он и не знал, где они, французские и арабские газеты, продаются. Никуда из этого пригорода он не выезжал, а мечтал лишь об освобожденном Ливане, и еще иногда его посещали смутные мысли об эмиграции в Америку. Я был первым, с кем ему серьезно удалось разговориться о ливанских событиях. Мне ничего не оставалось, как снова взяться за газету «Таймс» и начать зачитывать подряд все заметки на ливанскую тему, разъясняя ему незнакомые слова и комментируя факты. С получасовым перерывом подошел еще один трамвай. Я не поднялся; уже охрипшим голосом я продолжал зачитывать английскую газету от корки до корки этому чудачку-ливанцу – пока совсем не стемнело.

P. S. Мой московский Рабинович так в Вене и не появился; отчаявшись ждать, я вернулся в Лондон, где нашел от него телеграмму с сообщением о том, что эмигрировать он передумал и от выездной визы отказался.

Осторожно: двери закрываются

Я был уверен, что эти два типа следуют за мной. Я старался не упускать их из виду в уличной толпе по дороге к метро. Их бандитская внешность пугала и одновременно завораживала меня своей экзотичностью: странная российская помесь дембеля из афганцев с панком из породы английских футбольных болельщиков. Такие зонтиков с собой, естественно, не носят, и, поскольку с холодного мартовского неба на прохожих моросила какая-то депрессивная весенняя дрянь, шикарный плащ, вроде моего, им бы явно не помешал. Я купил его год назад в дорогом и дождливом Дублине. Плащ этот защищал в принципе от любой непогоды – если он, конечно, на твоих плечах, а не на чьих-то еще. Казалось, эти два бугая сладострастно раздевали меня своими бегающими глазками тайком при всем честном народе. Похотливый прохвост и уличный громила крайне сходны в своих вкрадчивых замашках.

Возможно, я, как всякий иностранец в Москве, слишком легко был подвержен припадкам параноидального страха на улицах, кишасших, по слухам, в эти дни криминальным элементом всех видов и цвета кожи. Как бы то ни было, но эти двое не отставали от меня ни на шаг чуть ли не два квартала, а потом нырнули вместе со мной в метро. Собственно, в этом не было ничего удивительного: никакой другой станции поблизости не было. «Проспект Мира». Но почему, спрашивается, они выбрали именно метро? Могли же они сесть в автобус или, скажем, на трамвай; но нет, они выбрали тот же вид транспорта, что и я. Это было подозрительно. Я, естественно, старался отогнать эти мысли: мол, с инфантильностью эгоцентриков мы, как в детстве, воображаем, будто все люди вокруг направляются туда же, куда и ты.

Навязчивая мысль о том, что мне предстоит разделить свой маршрут с этими двумя мордами, внушала не столько страх, сколько физиологическое отвращение. Дело в том, что маршрут этот был для меня, по сути дела, эротическим: я ехал на свидание с любовницей. Не удивительно поэтому ощущение невероятного облегчения, когда мне удалось наконец избавиться от своего «хвоста» (как говорят в детективных историях) на пересадке с «Таганской» на «Марксистскую». Любопытно было бы, между прочим, разгадать мистическую логику в процессе переименования станций метро московскими властями. Почему вообще одни станции переименовываются, а другие – нет? Зловещая «Площадь Дзержинского» превратилась, например, в столь же жутковатую «Лубянку», в то время как «Таганская» (тоже, между прочим, с тюремными ассоциациями) или не менее закосневшая в своем догматизме «Марксистская» почему-то оставлены в неприкосновенности строителями светлого капиталистического будущего. Я был, впрочем, рад, что власти не изменили название станции метро, где у меня было назначено свидание: «Шоссе Энтузиастов» – по постельному энтузиазму эта любовная связь превосходила весь мой предыдущий советский опыт.

Мой интеллект был, очевидно, несколько замутнен этим энтузиазмом в предвкушении встречи: иначе я бы не вскочил так бездумно в поезд, как будто поджидавший именно меня у выхода на платформу из перехода к станции «Марксистская». Всем нам знакомо то неуловимое мгновение, когда поезд вот-вот тронется и уже слышно шипение сжатого воздуха в тормозных колодках, но двери еще открыты, еще остается возможность впрыгнуть в вагон. Тут-то я и увидел снова этих двух гавриков, сопровождавших меня всю дорогу до метро. Я-то думал, они отстали от меня в переходе. Я ошибался. Они стояли внутри вагона, прямо у дверей, как будто давно меня поджидали. Они усмехнулись, оглядывая меня, застывшего на платформе в параличе нерешительности. Оба, каждый со своей стороны, застопорили тут же ногами двойные двери вагона, не давая им захлопнуться.

«Прыгай! – крикнули они мне весело, придерживая двери. – Эй, ты, прыгай, чего боишься?»

«Не делай этого. Не надо. Не прыгай», – давал мне мудрые инструкции внутренний голос разума. «Не бойся, прыгай: ты должен верить людям», – подзуживал из другого угла моего затравленного мозга голос гуманности. Я продолжал пялиться на разгоряченные лица двух парней, зазывно махавших руками: «Чего стоишь, дурак, прыгай!»

Вся моя жизнь в одно мгновение развернулась перед моим внутренним взором в виде последовательности нелепых и безответственных прыжков: эмиграция из России в Израиль, шатание по Парижу, решительный переезд из Франции в Англию по приглашению Би-би-си, перемена адресов с той же бездумной и одновременно жуликоватой поспешностью, с какой менялись любовницы. Да и мой визит в Россию после стольких лет разлуки был, как я подозреваю, не самым мудрым решением: мы – Россия и я – уже не узнавали друг друга. И вот меня приглашали прыгнуть в еще одну неизвестность: прямо в лапы двух типов явно уголовного вида; они небось и не надеялись заманить меня в ловушку столь элементарно.

Еще пионером я жил в вечном страхе, что не оправдаю надежд своих товарищей. Я не люблю разочаровывать старших. Я склонен слабавольно потакать желаниям публики. «Не прыгай!» – вопил холодный интеллект. Как и следовало ожидать, я прыгнул.

Я приземлился вполне удачно. Внутри вагона. Двери поезда захлопнулись у меня за спиной с тюремным лязгом. Если бы я замешкался еще на мгновение – оказался бы под колесами. Я оглядел вагон с победной улыбкой, слегка задыхаясь от возбуждения. Два парня, спровоцировавшие меня на это нарушение правил поведения в общественном транспорте, те самые, кого я подозревал в самых подлых намерениях, как ни в чем не бывало дружески похлопали меня по плечу и уселись на свои места. Я, оглядев полупустой вагон, собирался последовать их примеру. Шагнул вперед к свободному сиденью напротив, через проход, и тут же услышал жуткий звук – треск рвущейся материи. Меня как будто отбросило назад невидимой рукой. Я сделал еще одну попытку, осторожно шагнув вперед, и не сдвинулся ни на йоту.

Мое тело было внутри вагона, в этом не было никаких сомнений. Этого, однако, нельзя было сказать о маем плаще: фалды его были зажаты в вагонных дверях.

Как бы убеждаясь в безнадежности ситуации, я, ради чистой формальности, можно сказать, сделал еще одну слабую попытку отделиться от дверей. Никакого результата, кроме еще более странного, неприличного, я бы сказал, звука, я этим своим движением не добился. В следующее мгновение всем пассажирам в вагоне стало очевидно, что со мной произошло. Раздалось первое робкое хихиканье, вначале украдкой, прикрывая ладошкой рот, потом все сильнее и сильнее, и вот вагон уже качало от истерического хохота. Я стоял, пожимая плечами, как нашкодивший ученик. Ничего страшного, успокаивал я себя, кривя лицо в бодрой усмешке: поезд уже выбрался из туннеля, уже шипел тормозами у платформы – через мгновение я буду свободен.

Я уже готовился, как только откроются двери, тут же шагнуть в сторону, уступая проход выходящим и входящим в вагон пассажирам. И тут раздался левитановский бас из вагонного репродуктора: «Станция „Площадь Ильича“. Выход с левой стороны». Свобода зияла по ту сторону прохода. Всего четыре шага. Я не способен был сдвинуться ни на шаг: мой хвост был защемлен дверьми на правой стороне по ходу поезда. Пассажиры и с левой, и с правой стороны с любопытством анализировали выражение моего лица. Их собственные лица наливались краской от новых, едва сдерживаемых судорог хохота. Входящие тут же понимали, в чем дело, и дружно присоединялись к толпе гогочущих попутчиков. В бешенстве от этого унижающего хохота, как будто полуослепший, я вглядывался, облизывая пересохшие губы, в открытые двери на той стороне вагона, как импотент на раздвинутые ноги старой любовницы.

«Осторожно: двери закрываются. Следующая станция „Авиамоторная“», снова прожурчал магнитофонный голос в репродукторе. Слог «авиа» в названии станции напомнил мне о расстоянии, отделявшем меня в тот момент от Лондона. Перед глазами всплыл, по ассоциации, барахливший замок входной двери моего лондонского жилья: там выпал шуруп, дверь могла

захлопнуться так, что в один прекрасный день окажешься запертым в собственном доме. Я тем временем оказался запертым в тюрьме московского метро. Я снова дернулся в безнадежной попытке вырваться из железных оков. Со стороны, наверное, это было похоже на пируэт балетного танцора, устремившегося с распростертыми объятиями в символическое светлое будущее. Звук лопающихся по шву ниток у меня за спиной настолько превзошел по неприличию все предыдущие акустические эффекты, что я покраснел. Весь вагон снова забился в конвульсиях смеха. Выражение искренней радости появилось на большинстве лиц в вагоне: я, можно сказать, осчастливил на час их постылое существование. Один из виновников этой невольной минуты всеобщего счастья неожиданно повернулся ко мне:

«Проблемочка, а? Что тебе, парень, дороже: плащ или свобода?» В устах громилы это звучало как «кошелек или жизнь». Но имелось в виду: шкурнические интересы или человеческое достоинство? Под «собственной шкурой» надо было понимать «плащ». Все тут философы. Он глянул на меня исподтишка, и я заметил, как в глазах его блеснула мстительная радость. К экзистенциальной унижительности ситуации добавился элемент паники: если я шкурнически не решусь вырваться на свободу ценой целостности плаща, я рискую потерять любовницу. Дело в том, что мы договорились встретиться с ней перед выходом из метро: она боялась, что я затеряюсь в крупноблочных джунглях ее адреса. Я представлял себе, как она, стоя на холодном ветру с дождем, безуспешно пытается углядеть мое лицо в толпе. Как мне дать ей знать, куда я делся? Куда я, действительно, подевался? Где я? До моей станции оставалось две остановки. Я должен решить: бросить ли на произвол судьбы любовницу или пожертвовать плащом? За темным стеклом вагона мелькание огней туннеля не складывалось ни в какой вразумительный ответ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.